ИЗВЕСТИЯ

ТАТЬЯНА ТЭСС

ПОСТУПИ, КАК ДРУГ

1962

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Художественно-документальные очерки о советских людях — молодых и старых, душевных и не очень, любящих и ненавидящих, о тех, кто помнил, «что у людей будущего должны быть в избытке и хлеб, и розы».

- Татьяна Тэсс
  -
  - Его дети
  - Добрые зерна
  - Поступи, как друг…
  - Живая ветвь
  - Два товарища
  - Память сердца
  - Большая семья
  - Внучка Джамбула
  - Подвезите!
  - Встреча
  - Воспитанный человек
  - Всё остается людям
  - Как прожили жизнь два солдата
  - Снег
  - Мадонна Литта

Татьяна Тэсс
Поступи, как друг

очерки

Его дети

Большая душа никогда не бывает одинокой.

Ромен Роллан

…После всего, что я о нем рассказала, я хочу добавить: это человек необыкновенной душевной скромности. Пойдите к нему, познакомьтесь с ним, Вы сами убедитесь в этом.

Из письма в редакцию

И вот я жду в вестибюле клиники. Я совершенно не знаю, как выглядит человек, которого должна здесь увидеть. Скоро начнется заседание научного общества, куда он придет. Дверь поминутно открывается. В каждого, кто входит, я внимательно вглядываюсь.

Порог переступает осанистый человек с большим портфелем. Он не торопясь раздевается, аккуратно стряхивает мокрый снег с воротника, осторожно вытирает платком щеки. В каждом его жесте — уверенность в себе, значительность, неуловимое сознание собственного превосходства. Я гляжу на его широкую, барственную спину, когда он поднимается по лестнице, и думаю: «Нет, не тот».

Сейчас у вешалки краснощекий шумный брюнет с добродушным лицом и свисающим на лоб чубом. Он называет всех входящих по имени, громко и приветливо здоровается, немного театрально протягивая свою большую, широкую руку, кого-то окликает, кого-то просит занять ему место… Возле вешалки сразу становится тесно. Потом он взбегает вверх, перескакивая через ступеньку, а я смотрю ему вслед и думаю: «Нет, не тот!»

Теперь раздевается очень сосредоточенный, ушедший в себя человек. Он настолько поглощен собственными мыслями, что ничего вокруг себя не замечает. Он забывает снять галоши и возвращается назад. Потом он возвращается еще дважды — за очками, за папкой, — сконфуженно извиняется и уходит, не заметив, что с ним здороваются. И опять я решаю: «Не тот!»

Того, кого я жду, все нет. И в минуту, когда я начинаю

думать, что он совсем не придет, я слышу за своей спиной восклицание:

— Здравствуйте, доктор!

Здоровается немолодая озабоченная женщина — родственница кого-то из больных.

Она все время сидела в углу, отправив с санитаркой в палату кулек яблок. Я давно заметила ее лицо, усталое и грустное. Сейчас оно просияло, даже глаза у нее стали другими — теплыми, глубокими, изумленными… Тогда я снова поворачиваюсь и смотрю на того, кто вошел в дверь.

Ни в наружности, ни в одежде вошедшего нет ничего заметного. Он неловко и даже смущенно вглядывается сквозь запотевшие очки. У него обыкновенная внешность человека, уставшего после рабочего дня. На вид ему лет пятьдесят с лишним, что-то застенчивое и доверчивое сквозит в очертаниях его лица, во внимательном взгляде, в мягкой улыбке… И я делаю шаг вперед и тоже говорю:

— Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Павел Нилович! Я вас давно жду…

Теперь мы сидим на площадке лестницы, за круглым столиком. Он смотрит на меня с изумлением, так и не понимая, зачем я его разыскала. Для начала разговор заходит о его работе.

…Что говорить, трудная у него специальность! Болезнь — это всегда беда. Но нет, пожалуй, ничего более страшного, чем болезнь, поражающая душу.

Можно пожаловаться, когда болит рука. Можно посетовать на больное сердце. Но нельзя, невозможно даже близкому рассказать о боли, о страхах, о призраках, которые гнездятся в тайниках души, терзая, лишая сна, обрекая на муки, на беспредельное одиночество…

— Чтобы быть психиатром, надо прежде всего любить людей, — говорит мой собеседник. — Если больной почувствует вашу любовь к нему — только тогда он впустит вас в свой внутренний мир. Он ответит вам на вопрос: «Что тебя мучает?» И врач должен снять источник этих мучений, затормозить очаг возбуждения, создать щадящие условия для этой израненной души, для несчастного, страдающего человека…

Он говорит, а мне видится лицо женщины, сидевшей в вестибюле, ее вспыхнувшие глаза и та неизъяснимая нежность, с какой она сказала: «Здравствуйте, доктор!» Мой собеседник продолжает говорить, а я думаю не только о его работе, но о его жизни, его доме, его судьбе, обо всем том, что стало мне известно без его ведома и что узнала я из полученного в редакции письма. И, сказать честно, из-за письма-то я и пришла сюда.

Нового моего знакомого зовут Павел Нилович Ягодка. Пятнадцать лет назад в его семье случилось несчастье.

Смертельно заболела его младшая сестра, еще молодая женщина, мать четверых детей. Муж ее без вести пропал на фронте, она жила с детьми одна. Узнав о ее болезни, брат вылетел к ней на самолете. Как врач он понял, что состояние ее безнадежно. Он увез ее вместе с четырьмя детьми в Москву.

Человек одинокий, он жил в маленькой комнате. Тут-то и поселилась вся семья. Спустя небольшой срок сестра умерла. И на руках холостяка, никогда не знавшего, что такое уход за ребенком, осталось четверо маленьких детей.

Старший уже ходил в школу, младший был мал даже для детского сада. Всех надо было вовремя кормить, купать, надо было зашивать и штопать их порванные штанишки и чулки, следить, как они учатся, жалеть их, когда им больно, вставать ночью, когда им страшно, и утешать, когда они плачут, зовя мать.

Для них нужно было время, которого и без того не хватало на больницу, на научную работу; для них нужно было сердце, которому и без того было нелегко все вместить. Вероятно, ради них, этих четырех вошедших в его жизнь ребят, приходилось порою отказываться от многого.

Не только от сна или отдыха.

Быть может, и от личной жизни, личного счастья.

Дети росли; комната, еще недавно вмещавшая их, с каждым месяцем как бы уменьшалась в размере.

Сквозь сетки детских кроваток высовывались розовые пятки. Диванчик уже не вмещал своей обитательницы. Становились тесными башмаки, становились короткими штаны и юбки. Обо всем этом надо было заботиться и думать.

Но маленький мир комнаты всегда был миром тепла, любви и дружбы.

Дети росли трудолюбивыми, сызмала приученными к самостоятельности, отлично учились, ценили добро, ласку, заботу. Из письма я знала, что старший, Сергей, сейчас уже кончил МЭИ, работает в научно-исследовательском институте, женился, у него родилась дочь. Лена и Наташа — студентки. Младший мальчик, Петя, кажется, в этом году кончает школу. А может быть, уже пора не вспоминать письмо, а расспросить наконец обо всем главу семьи?

И, набравшись решимости, я приступаю к делу.

— Что вы?! — Мой собеседник в изумлении глядит на меня. — Неужели же вы из-за этого пришли сюда? Помилуйте, ведь это же обыкновенная житейская история…

— Расскажите мне о ваших детях, — прошу я. — Какие они?

— Какие? — Павел Нилович задумывается. — Не очень многословные. С чувством юмора. Трудолюбивые. Сережа, еще когда учился в техникуме, был занесен на доску почета. По характеру разные: Петя, к примеру, — романтик… — И вдруг он улыбается. — Очень хорошие дети! — говорит он застенчиво. — Обыкновенные хорошие дети.

— Кто-нибудь из них выбрал вашу специальность?

— Я уговаривал стать врачом Наташу. Но она отказалась. Пошла учиться в строительный институт.

— Почему?

— Чудачка… — Он опять смущенно улыбается. — Сказала: «Не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что это ты меня устроил». — Мой собеседник помялся. — И еще другая причина, совсем детская. «Люблю, говорит, как пахнет известь, люблю небо над стройкой…»

— Павел Нилович, ведь вы доцент, кандидат наук… Значит, вы защитили диссертацию. Когда же вы работали над ней?

— Вот как раз в это время, — говорит он виновато. — Когда они были маленькими. Но, знаете, они как-то старались не мешать! Разговаривали шепотом или играли втихомолку… В общем, как видите, диссертацию написал.

— И еще один вопрос, — говорю я и чувствую, что сейчас уже и у меня виноватый голос.

Я ощущаю усилие, с каким мой собеседник отвечает, его неловкость оттого, что разговор коснулся совершенно неожиданной темы, которую он считает интересной только для него одного, а для других — и неинтересной и незначительной… Мне совестно быть такой настойчивой. И все-таки я не могу не задать этого вопроса.

— Четверо детей… — говорю я. — Ведь они остались у вас на руках совсем маленькими. Как вы, одинокий человек, справлялись с ними, делали все, что для них было нужно?

— Я ведь живу в коммунальной квартире, — говорит он простодушно. — Там народу много. Каждый старался понемногу помочь…

Он нерешительно смотрит на меня, и я читаю в его взгляде опаску, что я задам еще один вопрос.

И я сдаюсь. Разговор наш снова возвращается к вопросам медицины.

Собеседник мой с увлечением говорит о своей любимой науке, а я киваю головой, но думаю совсем о другом. Я думаю о том, что этот застенчивый, добрый, чистый человек в трудных условиях вырастил и воспитал четырех ребят, вложил им в душу чувство долга и чести, научил трудолюбию и дружбе, вывел на

большую дорогу жизни четырех порядочных людей, тружеников и строителей.

Мне вспоминаются приходящие в редакцию письма с жалобами на соседей по квартире, рассказы о мелких квартирных стычках и ссорах, о мусоре, которым люди засоряют свою жизнь, — и я думаю о других людях, живущих в такой же коммунальной квартире, людях, которые помогали, как могли, вырастить четырех чужих ребят.

Я думаю и о научных работах, которые этот человек писал и пишет, о воле и организованности, которые нужны, чтобы работать, невзирая ни на что, не делая себе ни малейшей поблажки. Если правду сказать, то вспоминались мне в эти минуты бездельники и лоботрясы, которые выросли в семьях его иных коллег, где их баловали, сдували с них пылинки, осыпали всеми дарами земли, а вырастили людей нищих душой, бездарных и бесчестных…

И еще я думала о том, что живет Павел Нилович, человек с доброй, как в новогодней сказке, фамилией Ягодка, врач, ученый, живет до сих пор все в том же старом доме на Малом Николо-Песковском, довольный и тем, что дали ему с ребятами комнату чуть побольше, чем прежняя, где они жили раньше. И никого не просит, никому даже и не жалуется. А ведь он и по характеру работы и по всей своей жизни, по ее удивительному, бесхитростному подвигу заслужил право, чтобы позаботились и о нем.

— Здравствуйте, доктор! — сказала усталая и грустная женщина, и я не могу забыть ее глаз, полных доверия, благодарности и тепла.

— Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Павел Нилович! — говорю и я. — Желаю Вам от всего сердца счастья. Как рада я, что могла рассказать сегодня эту обыкновенную и необычайную историю, рассказать о Вас, человеке большой, щедрой души. Огромная советская наша семья богата такими людьми, богата добротой и верностью — и это одно из самых светлых богатств, какие есть на земле.

Добрые зерна

Воспитание нового человека — процесс сложный и длительный, он требует бережного отношения к человеческой душе, долгого, вдумчивого труда.

Утверждение коммунистической морали, освобождение сознания человека от сорняков, которые веками сеялись в его душу, очищение нашего общества от всего того, что мешает счастью, движению вперед, — огромная и благородная задача. Думается, никогда, еще не ощущали мы так глубоко и полно, как сейчас, общность наших стремлений, нашего труда, направленного к достижению светлой цели, начертанной в Программе партии, в великом плане построения коммунизма.

Нравственные принципы человека формируются постепенно. Немало зависит от того, какие зерна были посеяны в нем в самые ранние годы. До седых волос, до глубокой старости помнят люди первого своего учителя, первый урок справедливости и правды, первую ложь, с которой столкнулись на земле.

Как часто мы узнаем в облике, в чертах лица взрослых людей то детское, неисчезающее, что когда-то, в раннюю пору жизни, натура, как скульптор, проложила своим резцом…

Но в поступках зрелого человека, в его отношении к своему труду, к себе самому и к товарищам мы точно так же, бывает, распознаем без ошибки ростки тех зерен, которые были посеяны в его душе много лет назад.

Существует старая восточная поговорка, утверждающая, что каждый человек должен в течение своей жизни обязательно совершить два поступка: посадить дерево и убить ядовитую змею.

Думается, к этой поговорке, где дерево и змея названы, как поэтические символы рождения новой жизни и борьбы со злом, стоят добавить еще одну строчку: каждый человек должен посеять доброе зерно в душе ребенка — будь то его сын или чужое дитя.

Недавно я услыхала историю, что случилась с двумя маленькими людьми. Мне хочется рассказать ее вам.

В деревне, в летний день, очень маленькая девочка, которую родители привезли сюда из города, заглянула в колодец. Есть неизъяснимое очарование для детского сердца в бездонном блеске уходящего вглубь ствола, в запахе воды и ночи, в грозной и таинственной игре мрака, отсветов, отраженных звуков, что таятся там, где сверкает ледяное неподвижное око воды…

Перегнувшись, маленькая девочка глядела вниз, точно завороженная. Она наклонялась все дальше и вдруг, потеряв равновесие, с коротким изумленным вскриком упала в колодец.

Поблизости были только ребята немного постарше, чем она.

Кинувшись к колодцу, они увидели, что девочка плавает на воде, словно кувшинка. Пока она летела по глубокому стволу вниз, широкое ее платьице надулось, точно парашют, и удержало ее на поверхности. Хрупкость этого случайного чуда была очевидна: в любой миг девочка могла пойти ко дну.

Один из ребят — мальчик лет одиннадцати — решил спуститься в колодец.

Он сел в ведро, и товарищи стали спускать его на веревке. Но веревка оборвалась, и мальчик упал в колодец тоже.

Он умел плавать и не растерялся. Вынырнув, он оказался возле девочки: платье ее, постепенно отяжелев от воды, сворачивалось, как лепесток, и она погружалась все глубже.

Подхватив ее, мальчик поплыл вдоль стен колодца. Вода была ледяной, он плыл изо всех сил, стараясь разогреться, кружась вдоль скользких черных стен. Уцепившись за него, девочка молчала; ему казалось, он чувствует, как колотится ее сердце, словно он зажал его в кулаке. Так, не сдаваясь, не слабея, не теряя мужества, маленький человек кружился в ледяном колодце, крепко держа ребенка, пока не приспели на помощь взрослые.

Они спустили в колодец пожарную лестницу, и мальчуган, усадив девочку на плечи, вылез наверх.

Когда я размышляла над этой историей, она как бы раскололась для меня на две части.

В том, что маленький человек бросился спасать утопающую, проявилась его смелость, решимость, благородный порыв.

Но грозная секунда, когда он впервые увидел лицом к лицу смертельную опасность и осознал ее, высветила, как мгновенная яркая вспышка света, все доброе, что было заложено в его душе.

Порыв переплавился в стойкость, смелость — в осознанное мужество; на смену решимости пришла самоотверженность.

Как уместилось все это в юной, еще не окрепшей душе, от которой жизнь вдруг потребовала недетскую силу?

По праву могут гордиться родители, воспитавшие такого сына; по праву могут гордиться им педагоги, товарищи, все, кто посеял в его душе добрые зерна.

Я не называю имени мальчика, так же, как не назову имен других детей, о которых расскажу дальше. На мой взгляд, делать этого не надо.

Речь идет не о том, чтобы всенародно поставить им «отметку» за добрый или дурной поступок. В поступке ребенка всегда можно угадать того, кто послужил ему примером, почувствовать, как воспитывает, чему учит, от чего удерживает его взрослый

человек.

Вот о взрослых я и хочу поговорить.

В Ленинграде в один из новых домов переехал полковник в отставке, пожилой, одинокий человек.

Говорили, что жену и детей он потерял во время войны. По виду полковник был суров, малообщителен; прямой, как штык, он, прихрамывая, проходил через двор, подставив ветру худое морщинистое лицо, ни с кем не вступая в беседу. Вместе с ним переехала его собака — бородатый, шумный эрдельтерьер по кличке Дружок, и кошка с разноцветными глазами.

В первые же дни полковник, проходя по двору, молча и решительно вырвал рогатку из рук мальчугана, стрелявшего в котенка. Быть может, и следовало бы сопроводить этот акт поучением, но полковник, видимо, считал, что выражение его лица было и без того красноречивым.

Ребята во дворе невзлюбили нового жильца. Его самого они побаивались, с Дружком связываться остерегались и свою нелюбовь вымещали на кошке.

Надо сказать, что Дружок и разноцветная кошка были неразлучными друзьями.

В отсутствие полковника они сидели рядом на балконе и ждали его или спали на общей подстилке. Балкон был на втором этаже, со двора их было хорошо видно.

И вот однажды, когда полковник ушел, кошка решила прогуляться и спустилась вниз.

Обеспокоенный Дружок остался один. Он следил за кошкой с балкона, насторожив уши.

В это время во двор вбежала ватага мальчуганов. Один из них запустил в кошку камнем, она взобралась на дерево.

Окружив дерево, ребята с воинственными воплями забрасывали кошку камнями; онемев от страха, она лезла все выше, но и там камни доставали до нее.

Дружок, рыча и лая, метался по балкону. Он выл, рвал решетку лапами, но ребята даже не глядели на него.

И вдруг пес перемахнул через решетку и спрыгнул со второго этажа вниз.

От толчка Дружок сломал лапу.

На трех ногах, с вздыбившейся шерстью, он ринулся защищать друга. Вы легко можете себе представить, что разыгралось дальше. Ребята кинулись бежать, но кое-кому все же досталось от рассерженного пса. На следующий день родители подали на нового жильца в суд.

Вероятно, следуя букве закона, можно было очень быстро закончить это несложное дело, оштрафовав владельца собаки. Но,

разобравшись в подробностях, судья поступил иначе.

Он признал виновными родителей.

Он обвинил их в том, что они плохо воспитывают и плохо знают своих детей, если не разгадали в поступке, который показался им простой шалостью, опасный росток жестокости, попытки безнаказанно расправиться со слабым. Судья вызвал к себе ребят и постарался, чтобы и они осознали свою вину.

Заглядывал ли он в это время в свод законов? Вероятно, да.

Но это был закон гуманности, душевной чистоты, утвержденный всем строем нашей жизни, и судья учил ребят уважать этот закон и следовать ему.

Природа и то живое, что существует в ней, — вот с чего ребенок начинает свое знакомство с окружающим его миром. Яркость восприятия природы, стремление дружить с ней и разгадывать ее оставят свой след и в зрелости. К тому, кто был глух к природе в детстве, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы или первой звезды, взошедшей вечером на небе, — к тому потом с трудом достучатся чувство прекрасного, чувство поэзии, а быть может, и простая человеческая доброта.

Ибо зерна этого закладываются еще в детстве.

Однажды в школе учительница показала ребятам простую круглую чашку и предложила нарисовать ее. Сидящий впереди мальчик долго смотрел на чашку и наконец поднял руку. Он был маленького роста и поэтому казался младше всех других.

— Можно, я нарисую не чашку, а то, чего я никогда не видел? — спросил он.

— Что же ты хочешь нарисовать? — удивилась учительница.

— Дерево эвкалипт, — сказал мальчик задумчиво.

— Нарисуй, — согласилась учительница.

Мальчик некоторое время молчал и смотрел перед собой. Потом опять поднял руку.

— Можно, я нарисую то, что видели только некоторые? — спросил он.

— Объясни, пожалуйста, что это такое, — сказала учительница с интересом.

— Синяя птица, — сказал мальчик очень серьезно.

— Пожалуйста, рисуй синюю птицу, если тебе хочется.

Весь класс старательно скрипел карандашами, мальчик, спустя какой-то срок, снова поднял руку.

— Я хотел бы нарисовать то, чего никто никогда видел, — сказал он тихо. — Можно?

— Например?

— Мамонта, когда он просыпается, — сказал мальчик

виновато.

— Мамонта? — переспросила учительница, внимательно глядя на него.

— Мамонта, — вздохнул мальчик.

— Ну что ж, — сказала учительница. — В конце концов можно и мамонта.

Урок закончился, весь класс отдал учительнице тетради, где была старательно нарисована круглая чашка с ручкой «бубликом».

Только перед мальчиком, сидящим впереди, лежа, чистый лист бумаги.

Мальчик хотел нарисовать эвкалипт, синюю птицу просыпающегося мамонта — и не нарисовал ничего.

Но весь урок он видел их, видел огромное красное дерево с розовым стволом и голубой тенью, стаи попугайчиков, которые клевали его цветы, видел волшебную птицу счастья, видел мамонта, медленно выходящего на луг, поросший гигантскими цветущими травами…

Он видел их, восхищался ими, стремился их нарисовать, но маленькие его пальцы были слабей, чем его воображение, его мечта: лист бумаги остался чистым.

Мальчик не выполнил задания. Учительница был вправе, очевидно, поставить ему двойку.

Но она не сделала этого.

Она поставила ему отметку, не предусмотренную, вероятно, в учебниках педагогики, оценив силу и пылкость его воображения. Она угадала в мальчике поэта. Быть может, когда он вырастет, он вспомнит ее, вспомнит этот первый урок, взрослого человека, который отнесся с уважением и бережливостью к детской мечте.

Кто знает, чего лишаемся мы, когда взрослые нерасчетливо и равнодушно осуждают и искореняют в ребенке то, что кажется им ненужным мечтательством, а на самом деле несет в себе светлый и пылкий дар воображения! Не из этого ли дара рождаются в зрелые годы проницательность ученого, зоркость исследователя, вдохновение художника?

Человек нового общества должен быть гармонически развит. Высокие жизненные принципы соединяются в нем с богатством и красотой духовного мира.

Живые ростки его нравственных качеств крепнут, тянутся к солнцу, дают побеги в течение всей его жизни.

Но первое доброе зерно не умирает никогда.

Поступи, как друг…

В нашей стране строят новые фабрики и заводы, возводят новые жилые дома, строят плотины, преграждающие течение рек, и легкие мосты, связывающие воедино дальние берега, подобно тому, как люди скрепляют дружбу крепким и прочным рукопожатием.

Это строительство величественно и зримо, мы можем наблюдать его с той минуты, когда экскаватор вынимает первый ковш влажной, пахучей земли, и кончая днем когда здание, законченное и сияющее, открыто празднику новой жизни.

Но одновременно со зримым процессом строительства, где мы можем увидеть воочию, как меняется лик нашей земли, ее география, как возникают пейзажи новых строек, мы видим и другой сложный и величественный процесс.

Его можно назвать строительством нового в человеке.

Этот процесс тоже зрим; его развитие, его динамику, его тонкие и глубокие черты видишь ежедневно, ежечасно. Ибо это — сама наша жизнь.

На карте Родины возникли города, которых не было раньше, и нивы заколосились на поднятой целине.

Но люди, которые принесли в эти края новую жизнь, полную больших чувств, овеянную славой и мужеством труда, — это люди нового склада души. Это — наши товарищи по труду, жизни и целям. Это — и мы с вами. Ибо новая жизнь строится повсюду на нашей земле, строим ее все мы, своими руками.

Однажды, во время беседы на заводе, один из молодых рабочих спросил меня:

— Что такое новый человек? Как вы его представляете? — Подумав, он продолжил: — Лично для меня, новый человек — это Юрий Гагарин, герой-космонавт, совершивший великий подвиг. Но можно ли назвать новым моральный облик человека, который не совершил никакого подвига?

Мне кажется, молодой рабочий был неправ, и я сказала ему об этом.

Юрий Гагарин — настоящий советский человек. Жизнь поставила его в необычные условия, потребовав от него высокого проявления всех его моральных и физических качеств. Подобное испытание не создало его заново, а проверило, укрепило те качества, которые уже были заложены в его душе.

Неверно думать, что Юрий Гагарин родился в ту минуту, когда проник в космос. Неправильно полагать, что он стал в течение одного дня «новым человеком».

Один день может сделать человека героем — правда. Но мужество и выдержка, закаленность и вера в победу, самоотверженность и спокойствие, душевная чистота и ум — все эти качества не рождаются в человеке в течение одного дня. Они растут, формируются в постепенно, укрепляясь, гармонически развиваясь, складывая и определяя его духовный облик.

Юрий Гагарин стал героем. Его имя, он сам, его сделались известны во всем мире. Его фотографии можно увидеть не только у шахтера Донбасса, но и у шахтера Уэллса, его улыбка знакома не только московским ребятам, но и детям Америки.

Он стал героем, доблестно и отважно пройдя сквозь небывалые испытания космического полета. Не знаю, все ли молодые люди, так искренне и пылко восторгающиеся его подвигом, в частности мой собеседник на заводе, задумываются о том, что космонавт номер один доблестно выдержал еще одно сложное испытание — испытание славой.

Лучи славы прекрасны, но и беспощадны. Порою могут испепелить своим ослепительным пламенем нестойкую душу, изменить еще не сложившийся, не устоявшийся характер.

Лучи славы освещают всего человека, глубоко проникают в его общественную и личную жизнь. И чем ярче были эти лучи, тем точнее и сильнее они «высвечивали» в Юрии Гагарине одну из основных черт его морального облика — скромность.

Всегда и везде, в любых случаях этот молодой человек с мягкой и застенчивой улыбкой и ясными, как у ребенка, глазами неизменно повторял и напоминал: его подвиг совершил бы любой из его товарищей; его труд — это лишь частица труда большого и талантливого коллектива; его слава — это слава его Родины.

Он говорил это просто, искренне и убежденно. Никогда и нигде мы не могли почувствовать, что он стремится подчеркнуть свое превосходство над кем-либо. Всегда и везде люди видели: перед ними их товарищ.

Не только в герое можно и нужно искать черты нового. Строительство нового в человеке — процесс сложный, долгий, глубокий.

Черты нового, приметы нового можно видеть в самых повседневных явлениях, в обычной жизни, обычных людях. И чем пристальней, внимательней, добрее мы вглядываемся друг в друга, тем явственнее видим эти новые светлые черты.

Мне хочется рассказать об обыкновенном человеке, который не совершил никаких подвигов, ничего, что могло бы потрясти мир. И вместе с тем, у него есть свой особый и чудесный талант. Он одарен, на мой взгляд, одним из очень дорогих человеческих качеств: талантом активной доброты, уменьем вдумчиво и

доброжелательно глядеть в сердца людей.

Зовут этого человека Михаил Гаврилин. Работает он в Москве, на заводе «Станколит».

Доводилось ли вам когда-нибудь «разговаривать по душам» с мало знакомым вам товарищем? Это — дело непростое. Как правило, куда легче открыть незнакомцу дверь в свой дом, радушно усадить за свой стол, чем сразу впустить его в собственную душу.

Осторожно, мягко, задумчиво приоткрывается заветная дверца. Строка за строкой, страничка за страничкой распахивается сложная и удивительная повесть о человеческой судьбе, история чужой жизни.

Их открывают тебе, как другу. И ты вглядываешься в них, как друг.

Я шла домой к Михаилу Гаврилину для большой и долгой беседы с ним. Шла по тротуару, на котором дрожала и дробилась тень ветвей, мимо домов старых и домов новых и внутренне готовилась к этому разговору, старалась представить, с чего он начнется…

Вот и дом, куда я иду.

И вдруг все обернулось совсем не так, как представлялось, когда я отправилась сюда!

Михаила Гаврилина не оказалось дома.

Дверь в комнату была заперта, на мой стук никто не ответил.

Еще раз постучав, я медленно и озадаченно вышла на улицу.

Стоя в переулке, я размышляла, как поступить. Вина была моя: я пришла позже условленного часа. Но я была уверена, что хозяин дома отлучился ненадолго: не такой он человек, чтобы не дождаться гостя.

День был солнечный, румяный, из тех, какие подарила нам нынче московская осень. В переулке у ворот сидел на складном стуле старичок и читал газету; ребята, грохоча деревянными самокатами, мчались по тротуару.

Солнечный луч падал прямо на старичка; луч передвигался, и старичок переставлял свой стул вслед ним.

— Простите, вы не видели, Гаврилин давно ушел? — спросила я.

— Гаврилин? — старичок сдвинул на лоб очки. — К нему брат приехал двоюродный, так он пошел кой-чего купить покушать. Сейчас вернется.

Мы помолчали.

— Вы ему родня или кто? — спросил старичок и передвинул стул вслед за солнцем. Он подставил руку, теплый луч лег, как котенок, на сморщенную, сухую ладонь.

— Нет, я пришла к нему по делу.

— Понятно. К нему многие ходят. Кто в гости, кто просто так. — Старичок почесал лоб. — Он на людей счастливый.

— Счастливый? Как это понять?

— Понимают по-разному, — сказал старичок уклончиво. — Я человек старый, может, и неправ… — Он посмотрел на свою ладонь, где по-прежнему доверчиво лежал луч. — Я понимаю так, — медленно сказал он. — Счастье начинается с отношения человека к человеку. Да что вам со мной толковать? Во-он Гаврилин идет… — И он опять принялся за газету.

Издали было видно, как к дому быстро шагал высокий белокурый человек в темном плаще. Под мышкой у него торчала длинная палка колбасы, в руке он нес свертки и булку.

Человек улыбался, показывая крупные белые зубы, улыбка у него была удивительная — открытая, изумленная и простодушная. Это и был Михаил Гаврилин.

Первый раз я встретила его в цехе завода «Станколит», где он работает сборщиком. Оборудование в этом цехе современное, сборка производится на конвейере, но все же там, где есть земля и литье, не обойтись, видно, без копоти и пыли, и новый мой знакомый выглядел тогда далеко не таким белолицым и чистеньким, как сейчас.

Мы разговаривали недолго. Но потом на заводе я не раз заводила о нем речь с другими, и всегда меня поражало, как менялось выражение лиц у тех, кто говорил о нем.

В обычном выражении собранности, сосредоточенности, озабоченной деловитости, свойственной людям в разгаре рабочего дня, проступало что-то мягкое, задумчивое, — я бы сказала, глубоко неофициальное. И рассказывали о нем без казенных характеристик, без привычных формулировок, а как-то по-домашнему, душевно и просто.

И вот сейчас его сосед, худенький старичок, сидящий на улице и греющийся в солнечном луче, произнес простую фразу, которая как бы свела многое воедино. Думая о ней, я пошла навстречу Гаврилину, чтобы начать с ним разговор.

…Нет, он никак не ладился, этот разговор!

Вот мы уже сидим за столом в комнате, блещущей той беспощадной чистотой, какой особенно гордятся молодые хозяйки.

Вот забежала на минуту Шура — жена Михаила Гаврилина, веселая, розовощекая, приветливая, — и умчалась снова: она работает на фабрике в вечернюю смену. Шура посмотрела на меня с понимающим сочувствием, светлые, смеющиеся ее глаза будто говорили: «Да, трудная у вас задача! Разве он будет о себе

рассказывать? Вот если бы я осталась, я бы, пожалуй, вам помогла…»

Вот вбежал сын, маленький Сережка, и исчез, словно ветром его сдуло. А мы все сидим за столом, и собеседник мой уже который раз повторяет со вздохом:

— Что обо мне говорить? Обо мне говорить нечего.

Я смотрю на него и явственно вижу, каким он был мальчуганом.

В деревне Дулепово, где он вырос, было, наверное, полным-полно таких белоголовых, светлоглазых ребят. С давних пор повелось, что в Дулепове занимались сапожным делом: в каждой избе было по два-три сапожника, работу сдавали в районный центр, где находилась большая обувная артель. Надев большой фартук и усевшись на табурет, он помогал отцу тачать сапоги.

Он вырос, пришла пора идти в армию. После демобилизации он попал в Москву, поступил на завод «Станколит».

Здесь он и работает десять лет. Здесь он получил специальность, приобрел высокую квалификацию, стал одним из передовых рабочих. Здесь он стал коммунистом.

— Уж лучше я расскажу вам о ком-нибудь другом, — говорит собеседник и вздыхает. — Это куда интересней…

И вот словно распахивается дверь и из двора, наполненного крепким, как антоновское яблоко, воздухом осеннего дня, незримо входят люди и рассаживаются с нами за столом. Давние друзья, первые учителя, товарищи по работе, те, кто оставил след в душе…

Вот один из них, Николай Николаевич Парамонов, командир роты, в которой проходил свою воинскую службу Гаврилин.

— Человек с сердцем, — говорит о Парамонове мой собеседник. — Человек для людей, — добавляет он, подумав. — Коммунист, — говорит он медленно и значительно, заключая свою мысль.

Много лет назад дал ему Николай Николаевич Парамонов первый урок. Был этот урок как будто прост, а запомнился на всю жизнь.

Дело было так. Солдату Гаврилину полагался отпуск; он побывал дома и вернулся в свою часть. Спустя небольшой срок за успехи в строевой и политической подготовке Гаврилину было вновь разрешено поехать на побывку домой. И вот тут-то его вызвал к себе командир роты.

— Видишь, какое дело… — сказал командир роты совсем не по уставному порядку и посмотрел солдату в глаза. — Ты второй отпуск заслужил, по закону тебе он положен. А вот по товариществу… Многие твои товарищи еще и в первый раз домой

не съездили. Сам посуди, каково им тебя провожать? Погоди немного, поедешь позже! Не по форме поступи — как товарищ, как друг, поступи…

«Поступи, как друг…»

Не раз потом Гаврилин припоминал эти слова.

В его части был молодой парень, забияка и гордец. Он держался особняком, никогда не упускал случая показать свое превосходство. Парень был начитан, образован, но даже в том, как проявлял он свою образованность, всегда был оттенок высокомерия: он не делился знаниями, а козырял ими, словно сводил с кем-то счеты, старался кого-то уязвить.

С ним никто не дружил. Да он и не нуждался будто в дружбе. Он и писем ни от кого не получал.

— Как может жить человек, если о нем никто не думает? — рассуждал Гаврилин, глядя на красивого паренька с замкнутым лицом. — Как ему жить, если один?

И вдруг в то время, когда товарищи шумно и радостно разбирали почту, он прочел на этом всегда запертом словно на ключ, лице такое смятение, такую юную, незащищенную печаль…

«Поступи, как друг…» И Гаврилин поступил так, как подсказывали эти слова.

Не так-то просто проникнуть в крепость уязвленной души. Он приобрел настоящего друга, но не только это было наградой. Пожалуй, он тогда впервые понял, как важно вовремя коснуться руки товарища, вовремя оказаться рядом.

У людей различные судьбы.

Человек, сидящий передо мной, не совершил поразительных подвигов, в жизни его не было как будто выдающихся событий. Хороший производственник, хороший товарищ, он похож на многих других. Но те нравственные принципы, которые глубоко и прочно заложены в его душе, как бы освещены внутренним светом. Источник этого света — скромность.

Нет, не хочет и не будет он говорить о себе — я поняла это сразу.

Ни со мной, ни с другими не будет говорить о том, в чем может почудиться ему хоть на секунду стремлений показать самого себя, погордиться чем-то, чего не добились другие.

Он сидит напротив, рослый, белокурый, белозубый, улыбается своей удивительной мужественной и застенчивой улыбкой и повторяет снова:

— Что о себе рассказывать? Нет, уж я лучше о других! К примеру, как складывается мнение о человеке…

И вдруг лицо его становится очень серьезным и даже встревоженным.

— Только я вас попрошу, — говорит он мягко. — Вы фамилии, пожалуйста, не записывайте! Может, людям это неприятно будет. Нет, не записывайте!

— Хорошо, — говорю я и откладываю в сторону блокнот.

Действительно, как складывается мнение о человеке?

Вот, к примеру, многие в цехе считали, что один из рабочих — назовем его Иван Иванович — чересчур любит копейку.

За глаза его называли кто как горазд: одни — Плюшкиным, другие — просто скрягой. Если затевали что-либо в складчину, то к нему даже и не шли: говорили, что пока он раскошелится — всю душу из тебя вытянет. А уж чего ему так жаться с деньгами-то? Зарабатывает хорошо, премии получает, семья небольшая…

Но, приглядевшись внимательней, товарищи могли бы заметить, что Иван Иванович берег с тщательностью необыкновенной не только свою копейку, но и государственную.

Он берег все большое и малое, во что был вложен человеческий труд, уважая этот труд, зная высокую цену ему. И еще можно было заметить: приходили Ивану Ивановичу на завод письма. Приходили всегда из одного и того же места — из деревни, откуда он родом и где жила его вдовая сестра с ребятами. И не домой она писала ему, а на завод — может быть, не очень-то ладила с невесткой.

Каждую получку Иван Иванович отделял часть денег и переводил их сестре в деревню. И росли в той деревне, что за речкой, за березовой рощей, трое сирот, трое мальчишек, которых надо было одеть и обуть, а на мальчишках, как известно, все горит — только поспевай за ними…

— Не такое простое дело — судить о человеке, — говорит мой собеседник. — Ты в него всмотрись, в его душе поживи, тогда уж берись судить…

Был на заводе молодой рабочий, о котором все товарищи знали, что он пьет. Пил он тяжко, не раз прогуливал, не раз приходил на завод в том мучительном состоянии, для обозначения которого в русском языке родилось мрачное слово «похмелье». И вот однажды в разговоре он хмуро сказал Гаврилину:

— А почему, собственно, мне не пить? Обо мне плакать некому…

Парень жил с братом, человеком суровым и себялюбивым. Парень был в доме чужим: день и ночь ему напоминали о том, что он всем помеха, всем в тягость. Как-то после праздничной демонстрации Гаврилин повел его к себе домой. Уж не знаю, что наготовила к празднику Шура, но было, видимо, там всего вдоволь. Товарищи посидели не один час за столом, толкуя по

душам.

С той поры молодой рабочий стал заходить в семью Гаврилиных и в праздник, и в будни, и всегда ему бы там рады.

А спустя какой-то срок сложилась и его судьба: у него самого появилась семья, появился свой дом, и было кому не только о нем плакать, но и радоваться вместе с ним. И сейчас на заводе, пожалуй, не всякий и вспомнит о том, каким парень был забулдыгой: люди рады, когда можно о дурном навсегда позабыть.

Рассказав это, мой собеседник неожиданно произнес:

— Чего я больше всего не люблю — это когда человек нелюдимый. Я считаю — это хуже всего! Я и Сережку своего так воспитаю, чтобы он был людимый, чтоб вырос человеком для людей…

«Людимый»… Жило, наверное, когда-то в русском языке это слово, но мы позабыли его, а ведь полно оно доброты и света, И сам-то он, Михаил Гаврилин, и есть человек «людимый», любящий людей, полный к ним уважения и бережности. В этом, наверное, и есть отгадка того, почему так добро говорили о нем на заводе товарищи.

…Вот и кончился наш разговор — разговор, в котором человек ничего не хотел рассказать о себе, а вместе тем, не желая этого, сказал немало.

Я снова вышла в тот же переулок.

Знакомый мне старичок, ловя солнце, перебрался со своим стулом в самый конец квартала: видимо, я просидела в доме Гаврилина долго. Солнце шло к закату, и луч, лежащий на плече старичка, был розовым и узким.

Я прошла вперед и вдруг остановилась.

Дома расступились, открылось высокое небо, полное золота и света.

Солнце пылало, рассыпая свои лучи щедро и привольно, и всё: легкие облака, деревья, стекла домов, лица людей — было облито торжествующим теплом. Светлое небо обещало, что завтра заря будет еще щедрей, еще прекрасней, как прекрасна и щедра наша земля.

И, точно угадав мои мысли, старый человек, сидящий в конце переулка и греющийся в скупом солнечном луче, встал и подставил свое лицо этому торжествующему свету жизни.

Живая ветвь

Для каждого настоящего журналиста творческая командировка начинается с того дня, когда в газете напечатана первая его работа. Он находится в этой командировке всю свою жизнь.

Где бы ни находился пишущий человек, с кем бы ни сводила его судьба — его невидимая «записная книжка» всегда раскрыта, даже если у него и нет обычного блокнота в руках.

Эта огромная, неиссякаемая записная книжка — его память.

Так бывает и со мной.

Едва я встречаю нового для меня человека, едва начинается разговор, подчас совершенно случайный, в котором человек приоткрывает свою жизнь, свое отношение к труду и людям, — как невидимая «записная книжка» бесшумно распахивается и память впитывает новую строку, новый рассказ о человеческой судьбе, новую черту жизни и времени.

Вот об одной из таких случайных встреч и о мыслях, которые она пробудила, я и хочу сейчас рассказать. Как-то я торопилась в редакцию, где должна была состояться беседа с нашим товарищем, польской журналисткой, приехавшей из Варшавы. Я явно опаздывала на эту встречу. Увидев зеленый глазок такси, я кинулась к нему и через секунду уже ехала по мосту, запорошенному мокрым снегом.

За рулем сидел человек лет пятидесяти, крепкого сложения, с худощавым, обветренным лицом. Я сама вожу машину, и по тому, как он вел такси, ныряя между автобусами, троллейбусами и грузовиками, я сразу поняла, что это опытный, первоклассный водитель.

Водителю с водителем легко завести разговор.

Мы поговорили о новых правилах уличного движения, об удобстве подземных пешеходных переходов, о марках машин, и вскоре мой собеседник уже сообщил мне, что только вчера он переехал на новую квартиру.

— Семья у нас небольшая: я, жена и сын студент, — сказал он, притормаживая у перекрестка. — Квартира хорошая, в Юго-Западном районе, — воздуха много, вокруг деревья, кустарники… Утром проснулись, посмотрели в окно, огляделись — гляжу, жена смеется. «Ваня, говорит, я будто во сне все это вижу…» Правда, квартиру эту мы ждали долго, — добавил он, помолчав. — Во время войны я на фронте был, потом демобилизовался, стал работать на грузовике. Жили мы в деревянном доме на окраине. Домик старый, еще отец мой в нем родился, — удобств мало, да и

тесно. Сын школу кончил, поступил в институт, я на такси стал работать. Стареем мы с женой помаленьку… Ну, а если люди стареют — то и дом моложе не стал, сами понимаете. А сейчас… — Он засмеялся. — В новом доме мы сами вроде помолодели, честное слово!

Бывают минуты в жизни людей, когда их тянет поговорить. Так было, видимо, и с моим собеседником. Лавируя в потоке машин, мчащихся по Садовому кольцу, он рассказывал о годах войны, о том, как его ранило под Минском, о фронтовых товарищах… Это были, в общем, обычные истории военного водителя, и вспомнил он их, видимо, только потому, что люди, переезжая в новый дом, часто вспоминают все то, что пережили под старым кровом.

И вдруг я насторожилась.

Невидимая «записная книжка» бесшумно раскрылась, и все, что мой собеседник сейчас рассказывал, стало впитываться в память строка за строкой.

Вот его рассказ.

В конце войны, когда Советская Армия уже была на подступах к Берлину, мой собеседник, Иван Антонович Соколов, за рулем военной грузовой машины ехал по шоссе.

Вдоль дороги, по обочине, тянулся поток беженцев — старики, женщины, дети. Затормозив, Соколов увидел у крыла своей машины немку, которая держала за руку мальчика лет шести. Это была еще молодая женщина, но, видимо, измученная дорогой, бессонными ночами, страхом, недоеданием: лицо у нее было бледное, глаза глубоко запали, одежда казалась грязной и измятой. Таким же худым и измученным выглядел мальчик.

В ту пору сынишке Соколова, живущему с матерью в Москве, было столько же лет, сколько этому немецкому мальчугану.

Соколов долго молча смотрел; на мальчика: многое прошло в эту минуту перед его глазами. Женщина, оцепенев, со страхом глядела на сидящего в машине русского солдата. Неожиданно русский солдат высунулся из машины, схватил мальчика и посадил рядом с собой.

Немка помертвела от ужаса.

Когда она увидела, что Соколов, порывшись в вещевом мешке, вынул большой нож, лицо ее исказилось, она заметалась, прижала обе руки ко рту, сдерживая крик.

Но советский солдат вслед за ножом вынул из мешка большой кусок сала и буханку хлеба. Отрезав толстый ломоть сала, он положил его на хлеб и дал ребенку: мальчуган тотчас же вцепился в сало, как мышонок.

— И тут я ей сказал… — задумчиво проговорил мой

собеседник. — Чего пужаешься, говорю? Раньше надо было пужаться, когда твой муж воевать с нами пошел, совесть свою Гитлеру продал! А сейчас бояться нечего: советский солдат ребенка не обидит. У меня у самого такой малый дома растет… Она молчит, только глаза на меня таращит. И тут я ей говорю: но вот что ты запомни. Ты этот день крепко запомни, чтобы твой сын с моим сыном никогда на военной дороге не встретились. Поняла?

Соколов помолчал.

— Немецкого языка я не знаю, — продолжал он. — Да и она по-русски, наверное, ни бум-бум. Но понять меня — поняла. По глазам вижу, поняла. Вот только не знаю — запомнила ли… А запомнить ей надо было, навсегда запомнить. — Он почесал подбородок. — Отдал я ей мальчишку, отъехал от перекрестка, вижу: стоит мальчуган, мое сало жует, второй ломоть сала в другой руке держит. А мать на него смотрит. Смотрит и плачет.

…В это время мы подъехали к редакции, и Соколов установил машину у подъезда. Но я не выходила. Я продолжала сидеть рядом с водителем, раздумывая над историей, которую он рассказал, и ожидая ее продолжения.

Он молчал и только курил. Молчала и я. Молчала и думала о его поступке.

Нет, это не была сладенькая доброта «всепрощения» Солдат, прошедший дороги войны, видевший своими глазами раны, нанесенные Родине врагом, проливший свою кровь, потерявший на войне многих товарищей, — помнил все, он ничего не простил.

Но он думал не о мести за прошлое, а о мирной жизни в будущем.

Это была подлинная гуманность, истинное великодушие мужественного, сильного, чистого человека.

Перед ним еще были дороги войны, но он уже видел впереди светлый путь мира. И во имя утверждения мира на земле он сказал стоящей перед ним растерянной, беспомощной, начавшей что-то понимать немецкой женщине:

— Запомни этот день! Запомни так, чтобы твой сын с моим сыном уже никогда бы не встретились на военной дороге.

Сумела ли она это запомнить?

Запомнил ли это ее сын, шестилетний мальчуган, который нынче стал взрослым?

Что делает сейчас этот немецкий юноша? Что делает сын Соколова, которому сейчас столько же лет, сколько его немецкому сверстнику?

Эти вопросы настолько занимали меня, что, позабыв о том, что меня ждут, я продолжала сидеть в машине, остановившейся у

подъезда редакции.

— Расскажите мне о вашем сыне, — попросила я. — Где он, что делает?

— Да что особо рассказывать! Учится неплохо. Парень как парень. Вот только драчливый шибко.

— В каком смысле?

— Да в самом обыкновенном. Недавно домой пришел весь перепачканный, под глазом синяк, у пиджака рукав оторван… Мать так и ахнула. Оказалось, был он в парке, увидел, как к девушке три хулигана пристают. Их трое — он один. И полез все-таки один против трех, дурья голова! — сказал отец со скрытой гордостью. — Потом уже товарищи подоспели… — Он покашлял. — А то летом был в колхозе на практике. И там, можете представить, в драку полез — только уже в другом роде. Нашел какие-то упущения, пошел к председателю, к главному агроному — те от него отмахнулись. Так он, верите, уперся на своем! Я, говорит, не уеду, пока не докажу, вы, говорит, и сами это понимаете, только вам спокойней ничего не менять. И пошел, и пошел… Ну, уж на него писали и туда, и сюда: мальчишка, мол, невежда, берется нас учить, разводит склоку вместо того, чтобы своим делом заниматься… Его товарищи уже в Москву вернулись, а он все там. Наконец вызвали его в область для объяснений. И тут оказалось, что в чем-то он по молодости хватил лишку, начудил, а в главном — правда-то все-таки была его! Ему бы, конечно, поостыть маленько, куда там… — Отец засмеялся. — Вернулся домой опять в шишках, хоть их глазом и не увидишь. А довольный! Правда-то все-таки оказалась его? Его! Ну, дома, конечно, начался разговор. Мать говорит: «Витя, ну что ты не в свои дела лезешь! Больше всех тебе надо, что ли?» А он помалкивает. Мать говорит: «Отец, ты бы ему сказал! Гляди, как бы не навредил себе Витька…» А я же помалкиваю. Смотрим мы с ним друг на друга молчим. Но мать у нас, между прочим, тоже не из колодца вылезла. Глазами поморгала и говорит: «Зря я, конечно, нервы трачу, оба вы одинакие, что сын, что ты. С вами, говорит, не соскучишься, все что-нибудь да выкинете…»

Мы помолчали.

— Жениться он не собирается?

— Нет, пока бог миловал.

— Что так? Считаете, что рано ему семьей обзаводиться?

— Конечно рано! Пусть на ноги станет, специальность получит, тогда и женись. Девушка у него есть институте с ним учится на одном курсе. Тамарой зовут. Веселая такая, хохотунья и до того пересмешница, таких просто и не видал! Разве что в лесу, вроде как дрозд. Но Тамарка, знаете, очень добрая. Хороший

добрый человек, и нам с матерью она нравится. А жениться Витьке все-таки рано.

— Простите… Это, конечно, дело не мое. Но вы-то сами женились рано? Если посчитать, то, наверное, раз в таком возрасте, в каком сейчас ваш сын…

Мой собеседник покосился на меня с некоторым неодобрением.

— Ну, знаете, вы нас с ними не равняйте! В ихнем возрасте я уже сам себе хозяином был, самостоятельным человеком был, шофером работал. Возраст, может, и один, а понятие о жизни другое.

Мы опять помолчали.

— Вчера с женой у нас был разговор. Рано, Ваня, говорит, Витьке жениться, пусть хотя бы подождет, пока на пенсию выйду. Вдруг ребеночек, говорит, у них родится, разве я смогу и работать, и за дитем смотреть? Это, говорит, мне не по силам будет, надо, говорит, и о матери ему подумать. За маленьким смотреть и растить — дело нешуточное. А потом помолчала, глазами поморгала и вздыхает: «А если правду сказать, Ваня, так я этого маленького жду не дождуся!..» Вот и разбери этих баб. — Он искоса посмотрел на меня.

Я засмеялась и только хотела еще о чем-то спросить его, как нечаянно глянула на часы и ужаснулась. Конечно, я уже опоздала на встречу с польским товарищем и так опоздала, что просто совестно было туда идти.

Попрощавшись с новым знакомым, я вылезла из машины и пошла по Кузнецкому мосту.

Как всегда, там было людно и шумно.

Узенькие тротуары заполнились прохожими, машины с трудом втискивались на стоянки, троллейбусы, нервно подрагивая длинными подвижными усиками, катили по скользкой брусчатке. Весь привычный, милый сердцу гул московского дня обступил меня, и я шагала по мостовой, засунув руки в карманы и раздумывая над тем, что только что услыхала.

Я думала о Витьке, которого ни разу не видела, о беспокойном парне, что не умеет и не хочет стоять в стороне, о великом чувстве «ответственности за все», которое определяет одну из главных черт морального облика каждого настоящего человека.

Думала я и о матери Виктора, о том, что голос мудрого сердца подчас куда сильнее, чем подсказка будничного благоразумия.

Снова и снова вставала в моей памяти удивительная история, рассказанная Соколовым, дальняя военная дорога, испуганные,

вопрошающие глаза немецкой женщины, хлеб, которым советский человек, русский солдат, накормил чужого ребенка во имя мира, утверждаемого на земле.

И вся эта семья, судьбы которой я случайно коснулась, вдруг предстала передо мной, как живая ветвь, полная света и правды жизни.

Два товарища

Они работают в цехе рядом.

Поначалу даже кажется, что они похожи друг на друга. Не сразу поймешь, откуда берется это ощущение сходства: ведь у них различны и возраст, и внешность, и характер.

Петру Алексеевичу Авдееву лет пятьдесят с лишним. У него обветренные румяные щеки рыболова, голос у него тихий, внешность мягкая, степенная, движется он неторопливо.

У Леонида Михайловича Куропаткина взгляд с «колючинкой», движения быстрые и ухватистые; производит он впечатление человека ершистого, резковатого. Он моложе Авдеева лет на пять-шесть.

Рабочая повадка их тоже различна.

Куропаткин скор на решение, на придумку; живая искра творческого поиска загорается в нем быстро, с неудержимой силой. Чем сложней задача, тем с большим азартом он за нее берется. Для него не так уж важно, кто закончит начатую им работу: найдя верное решение задачи, он может легко передать другому ее «доводку».

Авдеев всегда, при всех обстоятельствах хочет сам, своими руками вести дело от начала до конца. Для него нет в работе важного и неважного, любимого или нелюбимого. Когда вы стоите рядом и смотрите, как он, надев очки, неторопливо разглядывает чертеж и берет в руки инструмент, когда вы видите его движения, размеренные и поразительно точные, настолько отработанные, что, кажется, он не ошибется даже с закрытыми глазами, — вы вспоминаете поговорку: «Поезд доходит до конечной станции не потому, что идет быстро, а потому, что идет непрерывно».

Да, Авдеев и Куропаткин очень различны.

И все-таки они похожи друг на друга. Пожалуй, их делает схожими выражение их лиц. Это выражение определяется, очевидно, внутренним состоянием человека во время работы, тем, что можно назвать личным отношением к труду.

Оно, это отношение к своему труду, как бы высвечивает изнутри лицо человека, отшлифовывает его черты, придает зоркость взгляду, разливает по всему лицу выражение справедливой и умной силы, покойной и глубокой сосредоточенности.

Так они стоят рядом, Авдеев и Куропаткин, у своих рабочих мест в цехе — похожие и разные.

Из окон заводского цеха можно увидеть высокое здание

научно-исследовательского института.

Завод «Станкоконструкция» и институт ЭНИИМС объединены в одно целое. Их объединяет не территориальная связь, а общность работы. То, что конструкторы института делают в чертеже, — на заводе воплощают, в металле.

Особенность этого завода, его индивидуальность сказываются, пожалуй, прежде всего в том, что рождение нового, работа над новым являются основным его состоянием.

Повторы весьма редки: если и выпускают станки «малой серией», то и тогда, в ходе производства, конструктор продолжает изменять и улучшать машину. Таким образом, получая новое задание, весь завод, начиная от литейного цеха и кончая сборочным, каждый раз сталкивается с новой работой.

Что же делают на заводе Авдеев и Куропаткин?

Их рабочее место находится, пожалуй, где-то у первых ростков этой живой ветви труда.

По профессии они слесаря-лекальщики. Для того, чтобы обработать деталь, следуя жестким и высок требованиям точности, нужна специальная оснастка станка. Эту оснастку и делают инструментальщики. Самую тонкую и сложную, почти ювелирную работу выполняют два «кита» инструментального цеха: Авдеев и Куропаткин.

Как-то я спросила у Петра Алексеевича Авдеева:

— Что, по-вашему, является основным в работе лекальщика?

— Уменье пилить, — сказал он так простодушно, как если бы речь шла о том, как перепилить большой пилой бревно.

Но у него в руках не пила, а напильник, и пилит он не дерево, а металл.

Я попробовала прикоснуться к приборчику, сделанному им, и ощутила под ладонью безупречно гладкую поверхность, как если бы это был отполированный и цельный металлический цилиндр. На самом же деле этот прибор состоит из нескольких тысяч деталей. Увидеть это можно только в лупу. Подгонка всех миниатюрных сопрягаемых частей сделана так, чтобы сохранить им «эластичность» движений. Думаю, что и легендарному Левше, подковавшему блоху, этакая работа была бы не по плечу.

«Станкоконструкция» — один из современнейших заводов, вооруженных высокой и точной техникой. Казалось бы, основная «ответственность» за точность прежде всего падает на станок; современная машина дает человеку гарантию точности выполнения полученного ею задания.

А тут всего лишь человеческие руки…

Руки, которые могут дрогнуть, могут ошибиться, могут что-то не удержать или выронить.

Руки, которым не свойственна железная, неукротимая точность машины.

Но это — живые, талантливые человеческие руки, руки творца, руки, которые машина никогда полностью не заменит.

Ибо машине дана способность выполнить, но не дан дар создавать, творить. И чем совершенней машина, тем выше разум создавшего ее человека, тем искусней и прекрасней руки мастера.

И вот я смотрю на руки двух рабочих — Авдеева и Куропаткина.

Они так же не похожи друг на друга, как и их владельцы.

У Авдеева рука пошире, с раздавшейся ладонью, движения ее мягкие, мерные. У Куропаткина — руки сухие, нервные, с узкими пальцами, как бы источающие упругий ток энергии.

И вместе с тем эти руки тоже похожи друг на друга. Ибо именно для таких, как они, подходит созданное народом, меткое, глубоко уважительное, глубоко поэтическое по самой своей сути определение «золотые».

Что же свойственно золотым рукам? Точность? Быстрота?

Да, но не только это.

Думается, золотые руки — прежде всего руки умные.

И Куропаткин, и Авдеев — это рабочие, труд которых непосредственно слит с трудом конструктора.

Они не просто «переводят» чертеж в металл. В ту минуту, когда на их столик легла свежая синька чертежа, они воспринимают его как вопрос, заданный им конструктором. Они отвечают на этот вопрос созданием нового прибора, нового инструмента, в его зримом объеме, в его рабочих характеристиках, в его, если хотите, технической эстетике, ибо лаконично решенная, безупречно выполненная деталь всегда красива.

Но каждый новый вопрос требует и нового ответа. Труд их — всегда труд творческий.

Что же еще отличает золотые руки? Терпение? Трудолюбие?

Да, но не только это. Еще и высокая культура труда.

Она не всегда определяется лишь дипломом об окончании специального учебного заведения.

Культура труда рождается и как сумма выработанных навыков, сумма практических знаний, неусыпной взыскательности к себе, непрестанного поиска.

— Куропаткин — он, представляете, какой? Куропаткин тригонометрию знает! — уважительно говорит о своем товарище Авдеев.

Сам же он, пока ищут в табличке тригонометрическую функцию, быстренько, по собственному, ему одному известному

методу, пересчитывает то, что ему необходимо. Причем сделает это так точно, что еще никто ни разу не нашел у него ошибки.

Культура труда Авдеева и Куропаткина сказывается в четком понимании каждой встающей перед ними задачи, в современности их технического мышления, в вооруженности готовыми к действию, активными знаниями.

Но золотые руки всегда еще и щедры.

И не только в том их щедрость, что не любят они пересчитывать, не тянутся цепко ухватить да не выпустить, не отдать другому.

Оки щедры прежде всего тем, что с охотой делятся своей сноровкой, навыком, тем, чем владеют, чему прочно научились. Но и здесь, в щедрости этой, сказывается различие характеров двух людей, двух товарищей, о которых идет речь.

Авдеев добр и терпелив.

Говорить попусту он не любит и предпочитает не объяснять словами, а показать на деле. Покажет он хоть десять раз подряд и сделает это не торопясь, спокойно, уступчиво.

У Куропаткина терпения не хватает.

Куропаткин вспыльчив и взрывается, как ракета. «Ведь это же так просто!» — сердится он на непонятливого.

Он торопится научить, торопится увидеть воочию результаты того, что передает ученику. Ему кажется: все, что понято и любимо им, — так же ясно и дорого каждому человеку.

Вероятно, иногда Куропаткин в этом ошибается. Но это не порождает в нем душевной скупости. Сквозь несговорчивость и вспыльчивость в нем живет и светится то прямое и сильное чувство, которое является главным содержанием его души.

Люди немногословные, Авдеев и Куропаткин не любят рассказывать о себе.

Едва заходит речь о них самих, как на лицах их появляется такая тоска, такое уныние и беспокойство, будто им предстоит сейчас сесть в кресло к зубному врачу.

Но вот беседа касается дела, которому они служат.

Обстановка сразу меняется, два товарища становятся куда более словоохотливыми, стараются рассказать точней, понятней, передать все технические детали.

Но чем подробней они говорят, тем ясней проступает то, чего оба они не касаются ни фразой, ни словом.

Это — высокая рабочая честность и какая-то удивительная целомудренная чистота в отношении к своему труду, своему ремеслу, своему заводу.

И еще это — любовь.

Та любовь человека к своему труду, которая рождает все

доброе на нашей земле.

Страна наша щедра на таланты: людей с золотые руками можно встретить, наверное, на любом заводе. Да и тот завод, о котором идет сейчас речь, может похвалиться не одним таким мастером, как Куропаткин или Авдеев.

Но что-то глубоко привлекательное есть в этих двух людях, в их молчаливой, спокойной силе, в их несговорчивости, угловатой скромности. И когда говорят о них на заводе, ощущаешь уважительность, которую вызывает не только их труд, но и еще многое другое, что не так-то просто распознать.

Случалось ли вам как-нибудь ехать в автобусе, в котором рабочие завода отправляются на рыбалку? Тогда вы знаете, что такой автобус — это своего рода передвижной клуб.

Проехать в нем — значит узнать многое, что делается на заводе, — и в цехах, и в семьях. Всех переберут, никого в покое не оставят… Потом перейдет разговор на рыбацкие дела, и тут уж пойдут подтрунивать да подшучивать друг над другом!

Авдеев сидит, помалкивает, смотрит в окно. Дойдет очередь, подшутят и над ним, но легонько, не круто соля. Он опять отмолчится и только скажет, покашляв:

— У кого снасть богатая, к тому рыба сама пойдет, меня что? У меня одно чувство в руках…

И вот уже автобус подходит к озеру.

Как ни выбирают заветное место — гляди, уже у каждого куста торчат машины и автобусы, как молодые бычКи. На льду озера черным-черно: рыболов возле рыболова. Сядет у лунки и Авдеев, такой же степенный и неторопливый, как в цехе. Но вот один раз… Сейчас я расскажу, что случилось один раз.

Проходили мимо озера два охотника, и один, завидев на дереве совенка, пальнул на ходу — не для честной охоты, а из озорства. Совенок упал комочком, И тут неторопливый, спокойный Авдеев рванулся от своей лунки и оказался на берегу. Никогда еще товарищи не видели на его лице такой злости, такого гнева.

— Какое право ты имел убить совенка? — кричал он, подступая к растерявшемуся охотнику, — Сова — птица редкая, нужная, она мыша за километр слышит. А ты взял да и убил! Какое право ты имел убить?

Охотник, что-то бормоча, прибавил шаг, а Авдеев все кричал на берегу, с ненавистью глядя ему вслед. И только когда тот исчез за бугром, Авдеев вернулся на лед и сел, нахохлившись, как птица, у своей лунки.

А товарищи, смотря на его стариковски сутулую спину, с удивлением вспоминали все, что только что произошло. И

думали о том, что эти ярость и гнев были рождены добротой человека, не простившего злой след, оставленный другим человеком на земле.

…Откуда же все-таки берутся они, золотые руки?

Может быть, для них нужно и золотое сердце?

Память сердца

Есть такая пора, когда на московских бульварах еще лежит снег, старая трава на проталинах мертва и грязна, весна еще не наступила, но все — ветер, небо, тревожные и нежные закаты — полны ее предчувствия. Молодой весенний воздух входит в дома, врывается в окна; большие коридоры редакции наполняются сквозняками, отблесками, солнечными зайчиками…

И вот в один из таких дней, когда я уже собралась уходить из редакции, в дверях меня остановил посетитель.

Это был человек лет тридцати восьми, представительный, слегка начинающий полнеть, с вьющимися темными волосами, в которых намечалась ранняя лысина. В левой руке он держал новый желтый портфель.

— У меня очень важное дело. Весьма важное. К тому же я приезжий и пробуду в Москве всего три дня, — сказал он вежливо, но твердо, и я вернулась назад.

Посетитель поставил на пол свой толстый, блещущий новой светлой кожей портфель.

— Я хочу рассказать свою семейную трагедию… — сказал он и сел в кресло.

Люди приходят в редакцию часто.

Они приходят с раздумьями, с радостями, с жалобами на несправедливость и с рассказами о человеческой доброте.

Иногда они делятся своим горем, и ты переживаешь его вместе с ними. Иногда они плачут, не в силах справиться с собой, и это бывает очень тяжело.

Но человек, пришедший сейчас, был совершенно спокоен.

Обстоятельно, стараясь не упустить подробностей, он пересказывал историю своей неудачной семейной жизни. Страница за страницей раскрывал он эту жизнь, описывал каждую мелкую размолвку и каждую крупную ссору. Из его рассказа вставали годы совместной жизни, прожитые трудно и невесело, полные взаимных обид.

Нелегко разобраться, кто истинный виновник неудачной совместной жизни даже тогда, когда выслушиваешь обе стороны. Тем более это трудно, если перед тобою только один человек.

Слушая список обвинений, предъявляемый незнакомой мне женщине, я старалась понять, что же именно заставило сидящего передо мной представительного, солидного человека обратиться со всем этим в редакцию.

В это время он раскрыл свой портфель и вынул оттуда увесистую папку.

— Вот… — сказал он. — Ознакомьтесь, пожалуйста, — здесь все документы.

Папка была полна копий заявлений, объяснительных записок и пронумерованных дополнений к заявлениям. В ней лежали также личная переписка между моим посетителем и его женой, домашние фотографии, магазинные чеки, справки из домоуправления и многое другое.

Письма были собраны за разные сроки, начиная с нежных записочек и кончая гневными, полными упреков листками, написанными перед разрывом.

Все это посетитель аккуратно разложил на столе.

Со сложным чувством неловкости и стыда я глядела на горестный семейный архив, с беспощадной откровенностью представленный посторонним глазам.

И вдруг, взглянув на один из документов, я с изумлением поняла, что мой посетитель уже год назад официально развелся с женой, обменял по решению квартиру, поделил по решению суда детей, забрал к себе сына, а дочку оставив жене. Прошел уже год, как они стали чужими людьми друг другу, жили разной жизнью.

— Что же вы сейчас хотите? — спросила я, глядя на пожелтевшую записочку, на которой было женским почерком написано: «Дорогой мой лапик…» — Что привело вас к нам?

— Как что? Чтобы вы напечатали о ней в газете! Заклеймили позором. Разоблачили перед лицом общественности. Продернули ее, так сказать…

Из бумаг, лежащих на столе, было ясно, что весь это год коллектив, где работала бывшая жена моего посетителя, защищал ее, давал ей характеристики как человеку глубоко порядочному, отзывчивому, принципиальному. В подтверждение своего доброго мнения о ней товарищи выдвинули ее депутатом районного Совета. Администрация помогла ей обменять квартиру.

И весь этот год бывший ее муж, человек, который кода-то ее любил, писал на нее во все инстанции порочащие ее заявления, полные обвинений, многие из которых, даже если бы они были действительно справедливы, порядочный мужчина не имеет права вынести за порог своего дома.

На фотографии, лежащей в той же толстой красноё папке, вынутой из портфеля, я увидела простодушное, пожалуй миловидное лицо с большими изумленными глазами. Я не берусь быть судьей чужой жизни. Может быть, эта женщина в чем-то и виновата. Но все уже перегорело, все кончено, к прошлому нет возврата. И человеком, что сидит передо мной, сейчас владеет только одно чувство — жажда мести.

Есть чувства высокие и есть низменные, испепеляющие душу,

населяющие ее темными, злобными силами. Одно из самых низменных чувств — это стремление отомстить тому, кто еще недавно был тебе дорог.

Поймите меня правильно: я говорю не о справедливом наказании за проступок, совершенный против совести и чести. Мы охраняем и бережем устои семьи, мы всегда готовы выступить в защиту слабейшего, мы сурово осуждаем человека, виновного в разрушении семьи, равнодушного к судьбе своих детей.

Но бывает и так, что в разладе виновны обе стороны.

Совместная жизнь не сложилась, наступил разрыв, от семейного очага остались только пепел да пыль. Ничего уже не склеить, ничего не соединить заново. И человек, не стремясь к возврату былой любви, твердо зная, что этот возврат невозможен, хочет только одного — отомстить.

…В открытое окно рванулся весенний ветер, и письма, разложенные на столе, зашевелились, точно ожили. «С добрым утром, любимый…», — прочла я и смутилась.

Мой посетитель аккуратно сложил листки, прибил их ладонью.

Для него они были не воспоминаниями о весне жизни, не приметами былого чувства, а только справками для обвинения.

Он не понимал, что, обвиняя с их помощью свою жену, он обвинял и самого себя, ибо предавал в эту минуту счастье и горести, пережитые с нею вместе, все заветное, что когда-то их связывало. И эти листки показались мне в весенний день мертвыми и истлевшими, точно осенние листья.

Нет, я не захотела их больше читать, хотя мой посетитель снова разложил их передо мной на столе, как пасьянс.

Я честно, в открытую выложила ему все, что о нем думаю. К моему изумлению, он не был обескуражен.

— Ничего, найдем управу в другом месте! Мы еще вернемся к этому вопросу… — сказал он с достоинством.

Через минуту я увидела, как он вошел в лифт. Осанистый, с новым желтым портфелем в руке, он медленно опускался в лифте, словно театральный дух, полный бутафорского величия.

И он действительно вернулся.

Правда, на этот раз совсем в другом обличье. На этот раз он был пожилым человеком, пенсионером. И речь шла не о нем, а о его дочери Нине.

Он прислал конверт, в который были вложены письма. В одном из них отец рассказывал, что Нина, студентка первого курса, влюбилась в молодого военнослужащего. Это ее первая любовь.

Вначале любовь была взаимной, юноша часто бывал в их

доме. Потом между влюбленными что-то произошло, юноша перестал приходить и прислал Нине письмо, извещающее о полном разрыве.

В общем, ничего примечательного в этой истории не было, ибо, как известно, юные влюбленные очень часто ссорятся и так же часто мирятся. Примечательными были только прилагаемые письма и комментарии к ним.

Одно письмо, написанное Нине ее избранником, было нежным, полным слов любви. Второе, очевидно в запальчивости разорванное девушкой, состояло из клочков, старательно соединенных и подклеенных ею или отцом на лист бумаги. Оно было написано резко и жестко.

Признаться, оба письма мне не понравились. Но еще больше мне не понравилось письмо, которое написал в редакцию пожилой человек, отец девушки.

По его словам, он обратился ко мне по просьбе дочери. Он требовал, чтобы юноша, разлюбивший его дочь, был наказан, чтобы о его последнем письме был «поставлен в известность» командир части. Как подтверждение чувств юноши к его дочери отец прислал в редакцию его любовную записку, полную ласковых слов. Он не заметил в этой нежной записочке главного: отсутствия подлинного уважения к его дочери. А об этом, казалось, отец должен был призадуматься прежде всего.

И, сознаюсь честно, прочтя эти письма, я тоже не почувствовала к ней уважения.

То, о чем пишут первые стихи или делятся с близкой подругой, она обдуманно, без девичьего смущения вынесла на всеобщий обзор.

Я поняла бы ее, если б она сделала это, чтобы получить совет, которого жаждала ее душа, чтобы поделиться своей болью или своим раздумьем.

Но она хотела только одного: наказать человека, который ее разлюбил, а быть может, и не любил вовсе.

И тут я вспомнила совсем другую историю.

В Одессе, в одной из больниц долгое время работала сестрой-хозяйкой Евгения Михайловна Голоскевич. Отделение, где она работала, славилось своим порядком и чистотой Больничная мебель выглядела так, словно ее только что отполировали. Для опыта сестру-хозяйку изредка переводили в другое отделение, но очень быстро там все кровати, все стулья и умывальники, словно по волшебству, казались только привезенными из магазина, а в палатах зеленели цветы и веяло свежестью.

Евгения Михайловна была человеком немногословным и сдержанным. С нею в доме при больнице жил единственный сын.

Вскоре стало известно, что сын Голоскевич решил жениться на своей сверстнице, дочери сестры той же больницы.

Но началась война, и юноша ушел на фронт, оставив в осажденной Одессе мать и невесту.

Горе утраты вошло в дом без стука. Узнав о гибели сына, мать не плакала на людях. Как и раньше, она работала безупречно, была исполнительна и аккуратна, вкладывала в работу всю душу. Только внешность ее изменилась: волосы стали белыми, а лицо почернело от горя.

Она не знала, где похоронен сын.

Было известно лишь место боев. Бои были тяжкими, станция много раз переходила из рук в руки, разрывы бомб и снарядов перепахали землю. Ничего не осталось матери — даже могилки, которую можно было убрать цветами, даже холма земли, к которому можно было прижаться материнским телом, словно оно могло согреть и пробудить мертвого сына.

Но каждый год, когда наступала пора ее отпуска в больнице, мать ехала на ту станцию, где был убит в бою сын.

Она выходила из поезда, шла в пустынное поле, опускалась на колени на сырую землю.

— Слышишь ли ты меня, сыночек? — говорила она, гладила руками траву и землю. — Чуешь ли ты, сынок, как плачет мама твоя?

В поле было тихо, молчали и трава и ветер. И мать вставала со старых, усталых своих колен и шла дальше. И опять опускалась на колени, и гладила землю натруженными руками, и окликала сына в могиле, и рассказывала ему, как тяжко ей жить без него…

Горе матери неутешно. Но время шло, и в молодой душе оно залечило рану.

Невеста сына полюбила другого, вышла за него замуж.

Она сама пришла к матери, чтобы рассказать об этом. Мать долго молчала, смотря на нее. Потом сказала:

— Дай тебе бог, чтобы он любил тебя так, как любил мой сын.

Вряд ли она думала в ту минуту, что повторяет одни из самых глубоких и чистых слов, созданных великим поэтом. В ней говорил голос материнской мудрости, голос материнской любви, давшей ей подлинное величие духа.

Годы шли. У молодой женщины родилась дочь. И Евгения Михайловна Голоскевич, мать ее покойного жениха, с первых дней рождения ребенка взяла на себя заботу о нем.

Она вырастила девочку, как если бы та была ей родной внучкой. Вместо беспощадной, испепеляющей душу обиды или жажды мести она нашла в себе силы понять сердце другого

человека.

Для матери эта молодая женщина несла в себе свет любви ее сына. И во имя святости и бессмертия сыновнего чувства к девушке, которая была ему дорога, мать растила чужого ребенка, как если бы в нем жил нетленный отблеск этой любви.

Достойны глубокого уважения люди, душа которых вмещает такую высоту чувств.

Большая семья

Прекрасны и удивительны краски этого города.

Зеленый от молодой листвы, синий от щедрой синевы неба, сиреневый от горных вершин, внезапно и ослепительно открывающихся за поворотом… Вишневые деревья растут в городе вдоль тротуаров, они покрыты легким пухом цветения, и над улицей, смешиваясь с запахом бензина, плывет аромат сада и весны.

Вдруг подул холодный ветер, на вишневый цвет легли ледяные снежинки, и два снежных убранства — добрый снег цветения и грозный покров нежданного позднего снегопада — слились воедино.

Но снова глянуло солнце, горы задымились золотым теплом, и деревья, отряхнув растаявший снег, опять подбавили солнцу свои цветы…

В такой день мы сидели в ординаторской комнате одой из клиник Алма-Аты. Двери в палаты были открыты.

Одних больных только привезли, другие уже оправились после операции. И, как часто бывает в больнице, каждому казалось, что весна и солнце обещают счастье, вновь возвращенную долгую жизнь, которую люди по-другому ценят после болезни…

В ординаторской вместе со мной сидели люди в белых халатах. Они были очень молоды, они только вступили на порог самостоятельной жизни. Через несколько месяцев каждый из них получит диплом врача. А если сказать правду, они уже и сейчас чувствовали себя врачами, потому что побывали в первой врачебной командировке, узнали, что такое самостоятельная работа.

О первой их работе на целине и шел у нас разговор.

Все четверо моих собеседников очень различны.

Мади Ильясов — высок, плечист, с длинными сильными руками хирурга. Он и мечтает быть хирургом, и все его рассказы неукоснительно сводятся к травмам и сложным случаям, требующим немедленного хирургического вмешательства. Хирургия отвечает его научным интересам, его влечению души, решительному и смелому характеру, физической силе.

Райхан Акласова выглядит немного старше своих товарищей: она успела закончить до поступления в институт медицинское училище. Это худенькая девушка с умными, приветливыми глазами; на носу у нее золотые веснушки. Выражение лица, серьезное и сосредоточенное, выдает в ней человека

сложившегося. Она много говорит об умении наладить работу, о снабжении больницы, о транспорте для перевозки больных. В ней угадывается будущий организатор.

Зубайра Мамлина кажется совсем юной. Рассказывает она горячо, торопливо, перескакивая с предмета на предмет. Ей хочется рассказать обо всем сразу: и о первом дежурстве в больнице, и о фельдшере, который с нею работал, и о первом сложном случае, с которым пришлось столкнуться…

Четвертая собеседница, Римма Абдрахимова, помалкивает и только смотрит в лицо собеседника темными, блестящими, внимательными глазами. Римма смугла, стройна, у нее каштановые волосы, нежно очерченный рот; она напоминает тонкую, но очень крепкую веточку. Перед тем как начать говорить, Римма сразу вспыхивает румянцем, словно ее лицо освещает изнутри невидимый фонарик. Говорит она коротко, серьезно, и чем дальше, тем явственнее вы ощущаете ее собранность, спокойную, внутреннюю силу. Но кончики ее ушей продолжают гореть.

Они, эти четверо, так же, как и многие их товарищи знают, что такое целина. Они познакомились с целиной не по книгам и не по романтическим фильмам. Они знают ее пыль и ее дожди, ее труд и ее пот, ее подвиг и ее радость.

Уже не раз они ездили в целинные районы — сначала на уборку, потом на практику, потом в первую врачебную командировку, когда были уже студентами шестого курса.

Они жили на целине в маленьких больницах. Любого из них не раз будили среди ночи, любой из них ехал под дождем на раскачивающемся тарантасе или грузовике по размытой ливнем дороге к заболевшему человеку, потом стоял у кровати, сжимая в руке карманный медицинский справочник, глядя на усталое воспаленное лицо больного, и страстно, в великом напряжении всех сил ума и души искал верного ответа на вопрос, заданный ему болезнью.

Каждый из них уже узнал, что такое быть в ответе за чужую жизнь.

Быть в ответе перед самим собой, перед испуганными детьми больного, перед его женой, с надеждой вглядывающейся в лицо врача, перед матерью, безмолвно и строго стоящей у изголовья.

И каждый из них уже узнал чувство высокого счастья и особое, никогда ранее не изведанное состояние глубокого внутреннего покоя, какие испытывает врач в минуты, когда жизнь больного спасена.

Эти четверо прошли свое первое врачебное испытание в маленьких участковых больницах, где не было других врачей: их

встретили только фельдшер да сестры. И вот в первую же ночь, когда одна из четырех приехала в больницу, с нею произошел случай, который она запомнила на всю жизнь.

Стажерку встретила фельдшерица — немолодая женщина с усталым лицом и покрасневшими от бессонницы глазами. Она сказала, что не спит уже третью ночь, дежуря у постели тяжелобольной, дала стажерке халат и повела в палату.

Путаясь в полах халата, доставшего ей до пят, и на ходу подворачивая длинные рукава, стажерка вошла в небольшую комнату. Там лежала без сознания больная — женщина лет сорока. У нее было кровоизлияние в мозг. Женщина была на последнем месяце беременности.

Фельдшерица пошла спать, а маленькая, утонувшая в огромном халате девушка села на ее место.

Она сидела, слушая прерывистое дыхание, вглядываясь в лицо женщины, и перед ее глазами проходили все лекции, все зачеты, все слова напутствия, которые ей говорили любимые профессора, все, чему учили ее в аудиториях и клиниках института. Она мобилизовала свои силы и знания, как собирают войска перед решительной битвой, готовясь к началу великого сражения за жизнь двух людей.

Одной была женщина, лежавшая перед ней без сознания на постели.

Другим было еще не родившееся существо, что дышало под сердцем этой женщины.

Когда фельдшерица ранним утром снова вошла в палату, ей показалось, что за одну ночь стажерка похудела, осунулась и стала выше ростом. Многое, очень многое передумала она, сидя у постели больной. И в поддержку тому, что дал немолодой фельдшерице ее практический опыт, стажерка выдвинула знания, которые ей дал институт.

И вот она начала свое первое сражение.

День за днем она применяла для лечения больной то, что подсказывала ей современная медицинская наука. Ее потрясала сила, с которой боролась больная за свою жизнь и жизнь ребенка, помогая врачу в борьбе.

— Жить! — говорила больная, с трудом разжимая губы.

— Жить! Жить! — повторяла шепотом девушка, сидящая у ее постели.

Что бы ни делала в больнице молодая стажерка, мысли ее неотступно были возле этой больной. Ни на минуту не забывала она и о крошечном существе, о его невидимом, трепещущем, как огонек, дыхании. Она понимала, что борется не только за его жизнь, но за все, что этот еще не родившийся человек сможет в

будущем увидеть, почувствовать, пережить, прочесть, за все, что он сделает на свете, за все, что он полюбит, что восхитит его, к чему он будет стремиться.

И ребенок родился.

Здоровый и крепкий, он громко закричал, оповещая о своем появлении на белый свет.

Крик его прозвучал, точно гимн радости, — и для матери, и для девушки.

…И вот настал срок покинуть больницу, вернуться назад в Алма-Ату.

На больничном крыльце стажерку провожала женщина. Одной рукой она бережно прижимала к себе ребенка, а другой махала вслед уходящему грузовику. И навсегда врезался в память простор предосеннего неба, запах полыни и земли, горячий пыльный ветер и мать, что стояла на крыльце и глядела вслед, прижимая к себе спящее дитя.

С кем же все это случилось, кто была эта стажерка? На этот раз — Зубайра, но сходные истории могли бы рассказать о себе и Римма, и Мади, и Райхан.

Каждый из них прошел свое первое испытание.

…В открытое окно ординаторской веял теплый ветер; белый лепесток вишни опустился на стол, точно бабочка. В коридоре негромко переговаривались выздоравливающие. Прошел озабоченный дежурный врач в белой шапочке и халате с засученными рукавами… У меня еще много вопросов к моим новым друзьям, но, видно, пора уходить.

Перед прощанием Римма, залившись румянцем, пригласила меня к себе домой. И на следующий день я отправилась к ней в гости.

Римма Абдрахимова с родителями живет в одном из тех новых, недавно застроенных районов Алма-Аты, где улицы еще не имеют названий, а нужный дом можно найти, только если вам нарисовали маршрут на бумажке. Дворов и въездов еще нет, но деревья уже посадили и под окнами вытянулись молодые розовые сосны с легкими кронами. Дома хорошие, благоустроенные; Абдрахимовы занимают отдельную квартиру.

Отец Риммы — преподаватель физики в педагогическом институте. Мать — маленькая, худенькая женщина с добрым, кротким лицом — вырастила шестерых. Поначалу я решила было, что она занимается только домашним хозяйством, но выяснилось, что и она педагог.

Отец долгое время учительствовал на селе, они переезжали из района в район, и когда, прибыв на новое место, выгружали одного за другим всех ребят — встречавшие их люди только

качали головой:

— И это все ваши?

Но тут четверо старших помогали матери вынести двух малышей, и все шествие направлялось к дому при школе.

Подчас оказывалось, что в районе нет полной средней школы, и тогда отец сам занимался вечерами со старшими детьми. Но, так или иначе, все учились, и трое из детей уже получили высшее образование.

Старший сын, Булат, — медик, заканчивает аспирантуру, старшая дочь, Дина, — секретарь обкома комсомола в Караганде, остальные живут с родителями. Рассказывая мне это, мать все время прислушивалась, точно ждала кого-то. А входная дверь то и дело хлопала.

Вошла Ася, самая младшая, в школьном платье, из которого изрядно выросла: ножки ее были такими длинными, какими бывают только у быстро растущих детей и у ягнят. Прибежала запыхавшись со двора вторая школьница, пошепталась с матерью и умчалась обратно. Потом хлопнула дверь, в коридоре что-то грохнуло, и в комнату быстро вошла Дина, старшая сестра, приехавшая накануне из Караганды на совещание.

Это была крепкого сложения девушка с иссиня-черными волосами, ослепительной улыбкой и глазами темными и блестящими, как смородина. Живая, общительная, быстрая, как огонь, она сразу наполнила комнату говором и смехом. Римма не спускала с сестры глаз — было видно, что они очень любят друг друга.

Разговор коснулся будущего Риммы. И чем дальше говорили мы, тем ясней становилось, что вся семья относится к решению Риммы ехать на целину не только как к чему-то глубоко правильному, но и как к поступку естественному и закономерному.

— Конечно, мне очень хотелось, чтобы Римма работала в Караганде, — говорила старшая сестра. — Ведь в Караганде тоже нужны врачи. Мы жили бы с нею вместе — знаете, как хорошо сестрам жить вместе? Но если она уже решила… Вы понимаете, я согласилась с ней.

Она посмотрела на сестру.

Та сидела за столом, застенчивая, краснеющая, но в спокойных ее глазах, в мягкой улыбке, в коротких репликах угадывалась та же сдержанность цельной и чистой натуры. Маленькие ее руки лежали на столе — крепкие, с пожелтевшей от йода кожей: руки врача.

Так она сидела в кругу своей большой семьи, выпрямившись, точно крепкая веточка, и глядела вперед, будто видела что-то,

чего не видели мы, будто ей представилось начало большой дороги, на которую она готовилась вступить.

Счастливого тебе пути, добрый человек!

Внучка Джамбула

В степи и в горах ощущение расстояния очень меняется.

Можно поручиться, что до высокого, поросшего травой холма с торчащим камнем наверху — рукой подать.

Но едешь к нему по петляющим степным дорогам час, другой, третий, переезжаешь вброд быстрые мелкие речушки, взбираешься вверх и спускаешься вниз — а холм все впереди.

— Далеко до Кизыл-Сай? — спрашиваешь у чабана, встреченного по пути.

— Близко! — отвечает он.

Чабан сидит верхом на гнедой лошади, смуглая рука легко держит поводья, на голове — зеленая шляпа. Лошадь неподвижна, словно отлита из бронзы.

— Вон там! — показывает чабан движением подбородка, будто урочище совсем рядом, и неожиданно добавляет: — Но лучше вам заночевать на ферме.

— Нет, если это недалеко, мы поедем прямо туда.

И снова мы едем — час, другой, третий…

К дороге подступает седая полынь, за ней блестит малахитовой зеленью трава. Откуда ни возьмись бегут сухие шары перекати-поля, они перевернуты ветром, и видно, что нижние стебли их совсем белы, точно подернуты инеем: это соль.

«Газик» наш прыгает по твердым, выбеленным солью гребням. В ушах звон от ветра, на ухабах вытрясло всю душу, рука, которой держишься за поручень, онемела…

— Далеко до отары Бибижар?

— Близко! — отвечает другой чабан.

Это — пожилой человек, сухое лицо изрезано морщинами, на голове его не шляпа, а высокий войлочный колпак. И лошадь у него не гнедая, а белая в рыжих подпалинах, с длинной узкой головой.

Чабан смотрит на нас с высоты своего седла и задумчиво говорит:

— Но лучше вам заночевать на ферме.

— Нет уж, спасибо, останавливаться мы не будем…

Вон в прозрачном воздухе видны постройки, похожие на ласточкины гнезда, — наверное, это кошары, наверное, это уже Кизыл-Сай.

Весь склон, подступающий к дороге, в белых пушистых пятнах; овцы движутся медленно и важно, маленькие ягнята, сама кротость и беззащитность, прыгают, высоко взбрасывая задние ножки.

А дорога вьется и вьется, и холм с торчащим камнем на верхушке все маячит впереди…

Да, доберемся до него мы, видно, не скоро.

И я, подпрыгивая на ухабах и ухватившись за поручень, начинаю вспоминать все, что мы видели утром, по пути сюда.

Я вспоминаю колхоз имени Джамбула, длинную улицу, дом, что стоит в конце… В этом доме жил Джамбул, волшебник народной устной поэзии. Он прожил огромную жизнь — почти сто лет, он был древним, как та гора, в честь которой получил свое имя. Но он остался молодым, ибо всегда молоды поэзия и народ, а Джамбул был совестью, голосом, сердцем и правдой своего народа…

За домом в саду — гробница, где похоронено тело Джамбула. Пирамидальные тополя стоят там навытяжку. На могильной плите пламенеют живые тюльпаны. Над куполом гробницы — бескрайнее синее небо родной страны, живое солнце, живое тепло. И кажется, что в самом воздухе, полном пения птиц и жужжания пчел, звучат слова Джамбула:

Погляди на большой простор —
В ярком свете вершины гор,
Над лучами дымок голубой —
Это счастье для нас с тобой…

В доме Джамбула сейчас музей. Нельзя без волнения глядеть на лежащую рядом с чинными музейными экспонатами домбру поэта — старую домбру с истертой деревянной декой, бессонную спутницу его песен, свидетельницу и друга вдохновенья…

Джамбул оставил большую семью — детей, внуков, правнуков… Среди них — девочка Бибижар, его внучка.

Я еду сейчас к ней, на дальние пастбища. Еду с самого утра. Тени от холмов стали длинней, солнце движется к закату.

— Далеко до отары Бибижар?

— Близко! — отвечает чабан, поворачивает коня и скачет наперерез овцам, спускающимся с холма.

Дорогу снова пересекает речушка. Мы медленно проезжаем по каменистому дну.

Повсюду, даже у самых маленьких родников, ощущаешь движение, прохладу и блеск… Из кустов полыни всовывает маленькую высокомерную голову змея, ядовитая и элегантная, похожая на модное ожерелье. Может быть, действительно стоило заночевать на ферме? Но сейчас и от фермы далеко… «Газик» прыгает, точно козел по ребристой дороге. А я смотрю на холмы и думаю о Бибижар.

Утром я была в школе, где она училась. Мы толковали о Бибижар с директором школы, потом он достал толстую книгу и читал вполголоса отметки в ее аттестате зрелости: «По химии — 5, по биологии — 5, по алгебре и геометрии — 5».

Бибижар училась хорошо. Она работала звеньевой на пришкольном участке и добилась высокой урожайности. Была членом комитета комсомола. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о ней.

Да и что еще, в общем, можно рассказать о девушке, только что закончившей школу? Она ничем не знаменита, ничего особого не успела сделать в своей жизни. Я и в глаза-то ее никогда не видела. И все же думаю только о ней и еду по длинным степным дорогам, через холмы и долины, через солончаки и реки, чтобы с ней повстречаться.

Я представляю себе ее — девочку, что училась в этой школе.

В маленькой деревне известен каждый человек, и уж, конечно, ее знали все, внучку легендарного народного поэта. Вероятно, она могла выбрать и иной путь для себя: уехать в большой город, учиться в институте… Что ж, можно было поступить и так!

Но можно выбрать и другое: продолжить дело отцов. Жить и трудиться среди людей, о которых складывал свои песни дед, стать неотъемлемой от огромной, древней, родной земли — как эти медленные облика, как трава, как невидимые степные птицы, пением которых наполнен воздух.

И Бибижар выбрала этот путь.

Вместе с нею решили стать чабанами и другие ее одноклассники. Так родилась комсомольская молодежная ферма. Заведовать фермой поехал преподаватель школы Айдар Оспанов, классный руководитель Бибижар. Все они уже прожили на пастбищах свою первую зиму.

Вот что я узнала, когда была в колхозе имени Джамбула.

И сейчас мы едем на пастбища, едем с самого утра, и все тянется бесконечная, бегущая через степь и холмы дорога…

Десятки развилков, десятки разбегающихся троп, каждая похожа на другую — ни отметины, ни дерева, ни камня. Но к нам в машину подсел местный животновод он безошибочно указывает:

— Направо… Прямо…

Для него однообразная, монотонная степь приметна и знакома, как для меня — улица Горького.

Солнце уходит за холмы, в чистом воздухе упоенно звенит жаворонок. Из-за пригорка, наперерез машине, неторопливо и грозно выходят два огромных, с теленка ростом, сторожевых пса.

— Налево… — говорит позади меня спокойный басок.

Машина огибает пригорок, и вот открывается лощина и отара овец на склоне холма, бородатый козел-вожак, что стоит, как изваяние, подняв рогатую голову, и всадница, сидящая на рыжем коне.

На ней высокие сапожки, красная вязаная кофта, широкая ситцевая юбка в цветную полоску. Голова повязана зеленой косынкой; на сильной, загорелой руке часы. Яркая, сильная, молодая, она похожа на невиданный степной цветок.

Всадница медленно поворачивает к нам смуглое, широкоскулое, спокойное, как степь, лицо.

Это и есть Бибижар Амралиева, внучка Джамбула.

По физике 5, по химии 5, по английскому 5… Хау ду ю ду, Бибижар? Она, как и ее одноклассники, учила в школе английский. Но как отличить ядовитую траву от полезной? Сколько раз в день поить овец зимой? Как загнать овец в укрытие, если начался буран? Как перевести их через речку?

Нет, этому не учили в школе. Этому учил Бибижар старый человек, который уже много десятков лет пасет овец среди этих холмов.

И Бибижар прошла у него эту науку.

Она знает теперь, что зимой овец надо поить только раз в день, а летом — два: утром и после обеда. Летом надо пасти их с шести утра до десяти, пока не пришел на пастбища зной, а потом перегонять отару в тень, в холодок, — пусть овцы отдыхают. Но едва жара спадет, надо вести их на пастбища снова, до самого заката.

— Начинай! — надо крикнуть вожаку, бородатому старому козлу, если хочешь, чтобы овцы перешли реку.

И козел первый ступит в воду.

— Шек! Прямо! — надо крикнуть ему, и он пойдет, потому что он храбр, стар и умен, и овцы пойдут за ним.

Первая зима была трудной, с буранами, с жестокой поземкой. По ночам было слышно, как в студеной тьме воют волки. Но за всю зиму ни одна овца в отаре не пропала, не погибла — их всех сберегла Бибижар, молодой чабан. А ведь отара немалая — свыше 500 голов…

Обо всем этом рассказывает нам Бибижар.

Она живет в юрте — вон видна в долине юрта, круглая похожая на перевернутую пиалу. Может показаться, что чабаны живут далеко друг от друга, но на пастбищах ощущение расстояния совсем не такое, как в деревне или в городе. От чабана к чабану — рукой подать, они знают о каждом событии, о том, кто сыграл свадьбу, к кому приехали родные, у кого

заболела овца…

Когда на ферму приезжает киномеханик с фильмом, туда съезжаются на конях чабаны со всех концов.

Ночью над кинопередвижкой в степи дымится золотой волшебный свет, слышна музыка и голоса, поющие о счастье. Во тьме жмутся друг к другу овцы, похожие на серое облако; бесшумно бродят огромные сторожевые псы, а степные кони пасутся без привязи: конь чабана никуда не уйдет от хозяина. На экране живет и дышит влекущий, прекрасный мир искусства, и молодые чабаны, рассевшись на кошме, внимают ему, затаив дыхание.

В юрту чабана юная Бибижар взяла с собою учебники и книги. По обычаю отцов, пол юрты застлан кошмой, в углу лежат сложенные горкой одеяла, у печки — закопченный казан.

Но на полке стоит «Молодая гвардия» Александра Фадеева. И вечером, вернувшись с пастбища, можно включить радиоприемник и слушать голос всей родной страны, далекие голоса мира.

Вместе с Бибижар на отгоны поехали ее отец и мать.

Отец Бибижар — старый человек, ему скоро семьдесят лет. Он работал табунщиком. Когда года три назад ему предложили перейти на работу чабана и уехать из колхоза на пастбища, он отказался: «Я уже стар…»

Но вот единственная дочка, маленькая Бибижар, решила стать чабаном, покинуть деревню. И отец забыл о том, что он стар.

Он оставил дом в деревне, взял с собой все, что необходимо для жизни чабана, и переселился с женой и дочкой на отгоны.

Он стал таким же чабаном, как и Бибижар, они работают вместе. На рассвете, когда только поднимается из-за холмов солнце, они выгоняют овец на пастбища. В тот ранний час воздух прохладен и свеж, земля пахнет медом, дымок очага недвижимо стоит над юртой.

Я вижу отца Бибижар.

Он подъезжает на молодом коне — худой, легкий, высушенный солнцем. На голове его — высокий войлочный колпак, в морщинистой крепкой руке кнут с трещоткой. У него приветливое лицо, отзывчивое на улыбку.

Он сам рассказывает, как отказался стать чабаном три года назад, и подшучивает над собой, и поглядывает на дочку. Видно, что ему приятно рассказать приезжему человеку о том, как его дочь вместе с товарищами пошла по выбранному ею пути, по широкой степной дороге, где оставили следы свои многие поколения чабанов.

…Уже начинает темнеть, на небе проступают звезды. Отчетливо слышно, как с холма, вниз по склону, катится к нам тишина. На гребне холма, четко обрисованные на светлом небе, стоят цепочкой овцы.

Старик громко свистит, щелкает кнутом и скачет вверх по склону.

Вслед за ним, круто повернув коня, скачет Бибижар. Услышав стук копыт, овцы, как по команде, поворачивают головы и смотрят вниз.

А Бибижар, пригнувшись к седлу, мчится по каменистому склону, из-под копыт сыплется мелкий щебень, рыжая грива коня пламенеет огнем. Вязаная алая кофта Бибижар похожа на степной мак.

И высокая звезда неподвижно стоит над холмом.

Подвезите!

Любому водителю машины случалось подвозить нежданных пассажиров.

На обочине дороги вдруг вырастает фигура с поднятой рукой. Одни «голосуют» решительно, стремясь во что бы то ни стало остановить машину; другие поднимают руку неуверенно, смущаясь; третьи вообще не поднимают руки, а только вглядываются в водителя, чтобы понять уважит он просьбу или нет…

А водитель тоже посматривает на них и тоже решает: вот этого я подвезу с охотой, а вон того, с мутными глазами, что стоит, покачиваясь, как верба под ветром, — того лучше в машину не пускать…

Не раз случалось тормозить машину у обочины и мне.

Когда двое незнакомых людей оказываются сидящими рядом в машине, между ними легко завязывается разговор. И вот о нескольких случайных седоках, которых довелось подвозить мне в течение одного дня, я и хочу рассказать.

По делам редакции я выехала из Москвы ранним утром. Дорога предстояла не близкая. Отъехав от дома километров двадцать, я увидела у обочины на шоссе рослого мужчину и рядом маленькую старушку.

Мужчина, вытянув шею, вглядывался в проходящие машины. Завидев меня, он поднял руку. Я затормозила.

— Не подвезете ли мою маму? — спросил он. Он произнес именно так: «мама», а не «мать», и слово это было неожиданным в устах плечистого дяди с лысиной. — Хотя бы до поворота на Зюзино.

Старушка была худенькая, в веснушках, с живыми карими глазами. Голову ее покрывал белый платочек, воротник сатинового платья скрепляла брошка из янтаря. Из рукавов платья высовывались большие, красные, жилистые кисти рук. Она весело, с любопытством посматривала на меня.

— Садитесь… — Я приоткрыла дверцу.

Привстав на цыпочки, старушка обняла сына.

Он стоял, послушно наклонив голову, пока она целовала его. «Долго еще?» — сказал он с напускной ворчливостью, и старушка засмеялась: было видно, что это у них давняя шутка.

Он помог матери сесть, положил ей в ноги объемистую сумку. Мы отъехали.

Я посмотрела в зеркальце над щитком: он стоял на обочине и смотрел вслед машине — широкоплечий, лысый немолодой

человек… Мне показалось, лицо его было печальным.

— Без шляпы ходит… — сказала старушка и вздохнула. — Вот напечет солнцем голову… Все не слушаются, все знают лучше!

— У него живете? — спросила я.

Старушка покачала головой.

— Нет, живу одна. Это у вас что?

— Радио. А почему ж не с сыном?

— У меня и дочка есть. А живу все-таки одна.

— Вот как! А кто ваш сын по профессии?

— Ветеринарный врач. Дочка — учительница. Вы только до поворота подвезите, а там я уже пешочком.

Мы помолчали.

— Меня, между прочим, многие спрашивают, почему я с детьми не живу, — сказала старушка. — А я считаю так: если есть возможность, лучше жить самостоятельно. Посудите сами. У дочки, к примеру, муж человек хороший, но вспыльчивый. Порох! Пока я в гостях, это одно дело. А если жить у них? Первая же ссора, и готово: «Мама, видите, какой у него характер?» Они через час помирятся, а у тебя на душе камень, и зять косится. Или, допустим, я у сына. Он с работы приходит поздно, невестка уже спит. Я его дожидаюсь, чай вскипячу, сядем с ним, он мне все расскажет — и про работу, и про домашние дела. Он, еще когда мальчиком был, всем со мной делился. Утром невестка спрашивает: «Что это ты стал такой разговорчивый? Со мной все молчишь, а с матерью рта не закрываешь! Откуда только слова берутся?» Вот вам и все. Сами понимаете, что было бы, если б я у них жила. А так — погостила, внуков обшила, невестке платок связала… И все рады! — Она вздохнула. — Но, конечно, уезжать всегда грустно, — сказала она и вытерла глаза. — Видели, какое у него лицо было? Как у маленького, ей-богу…

Она наклонилась и достала из сумки кусок пирога.

— Может, скушаете? С капустой, сама пекла…

Спутница моя задумалась.

— Или вот, допустим, насчет денег, — продолжала она. — Я этого не понимаю, чтоб считать, сколько у кого на книжке. Есть, знаете, такие матери, которые готовы детей, как грушу, трясти. «Я тебя вырастила, ты мне обязан…» А я так думаю: плохо ты его вырастила, если приходится попрекать да напоминать…

Старушка помолчала.

— Дети у меня хорошие, дай бог всем таких детей, — сказала она. — Пенсии мне хватает, силы пока есть — что мне им в руки смотреть? Я им не в тягость, а в помощь, в ласку. Семьдесят третий год — и все нужна… — произнесла она с гордостью.

Надев очки, она вгляделась в дорожный указатель.

— Я вас довезу до самого Зюзина.

— Что вы! Тут недалеко. А вам лишнее беспокойство. Спасибо, что посадили!

Старушка взяла сумку и зашагала, проворно переступая маленькими ногами в мальчиковых башмаках. Спина у нее была сутулая, но шагала она привычно и легко, как человек, который немало прошел по земле.

На сиденье возле меня лежал аккуратно завернутый кусок пирога с капустой.

Километров тридцать я ехала одна. Погода испортилась, пошел дождь. Обдавая стекло жидкой грязью, проносились самосвалы. Я проехала село Вязники, площадь с большой чайной, базар…

За Вязниками дорога опустела. У развилка маячили под дождем две фигуры: верзила с мешками и мальчонка лет семи.

Верзила поднял руку.

Признаться, я хотела проехать мимо. Но в это время увидела мокрое от дождя лицо мальчика и по-стариковски терпеливый взгляд, которым он проводил меня, как, вероятно, провожал не одну машину, обдававшую его грязной водой и исчезавшую за поворотом.

Я затормозила — и тут же пожалела об этом.

— Степка, садись! — кричал верзила, запихивая в машину мешки. — Хозяйка, может, багажник откроешь? ладно, мы и так! Степка, закрой дверь! Поехали, хозяйка. Сколько возьмешь до Куприяновки, если по-божески?

— Не такси, — хмуро ответила я. — Ничего не возьму.

— Во как! — сказал он презрительно и засмеялся. — Из прынцыпа или боишься? Так я инспектору не скажу! Мы тоже с понятием. Скажу: «К теще еду с золовкой…»

Я промолчала.

Машина наполнилась тем особым духом, который немедленно распространяет подвыпивший человек. В смотровое зеркальце мне было видно красное лоснящееся лицо моего пассажира.

— С базара? — спросила я.

— Ага. Рыбу привозил. Девяносто килограммов наловил, судак и щука. Расхватали враз.

— Девяносто килограммов? — изумилась я. — Как же вы столько на удочку поймали?

Пассажир захохотал.

— На удочку! Баба — она и есть баба, хоть и шофер. Удочка — это, брат, для дачников. А я человек серьезный, мне рыба для

дела нужна. — Он высморкался. — У меня сети, знаешь, какие? Из чистого капрона. Шестьсот рублей плачено старыми деньгами. А ты говоришь: удочка.

— Так сетями же ловить запрещено!

— А как же! — охотно согласился пассажир. — Все как есть запрещено: и сети, и бредень, и мережа. Одно слово — любитель, последний человек. А какой же я любитель? — Он фыркнул.

— И не боитесь?

— Рыск, конечно, есть. Без рыска нельзя. Главное, доброхотов много развелось, — сказал он сквозь зевок. — Общественных инспекторов. И уж окорачивали их, и пужали, и лодки ихние пробивали — и все ничего. Стараются. А для чего стараются? Что рыба — ихняя? Рыба обчая, для всего народа. И моя, и твоя. И хватает ее, слава те господи.

Он снова с хрустом зевнул.

— Спит Степка, уморился, паршивец, — пробормотал он. — Я его для дела беру, чтоб рыбу сторожил. Живем хорошо, ничего живем, не жалуемся. Только с умом, конечно, надо. С понятием.

Он тяжело заворочался, устраиваясь удобней.

— Вылезайте, — сказала я, не оборачиваясь, и остановила машину.

— Разве уже Куприяновка? — удивился он. — Что ты!

— Вылезайте. Дальше не повезу.

— Но-но! — сказал он с угрозой. — Ты это брось! Как это — не повезу?

— Не повезу — и все!

— Вот сумасшедшая баба! Да я тебе денег дам. На три рубля! Ну, бери пять, мы с этим не считаемся… — Он совал мне в руки деньги, обдавая сивушным дыханием.

— Вылезайте! — закричала я.

— Скажи, как разошлась! — забормотал он испуганно. — Куда же это я вылезу с дитем и мешками? Ты хоть дите пожалей! Разве пройдет такое малое двадцать километров пешком? Надо совесть иметь! — сказал он плачущим голосом. — Так с людями не поступают…

Было слышно, как посапывает во сне уставший Степка. Я со злостью нажала стартер. И машина снова покатила по пустынной дороге.

Пассажир притих.

Впереди мелькнул шлагбаум: это был объезд, а за ним — Куприяновка. Но едва я съехала с шоссе вниз, как машина забуксовала и остановилась, увязнув в м< песке.

Мы вышли.

— Лопата есть? — деловито спросил мой пассажир. — Ну,

давай! А топорик? Ладно, я тебе свой нож дам. Иди лозняк нарежь, а я пока подкопаю. — Он, кряхтя, нырнул под машину. — Ничего, неглубоко увязла… — И он принялся ловко и быстро подкапывать песок.

«Хозяйственный, дьявол!» — подумала я, глядя на сноровистые движения.

Когда я, нарезав веток, вернулась к машине, она стояла в песке, с распахнутыми настежь дверцами.

Не было ни пассажира, ни мешков, ни Степки.

Пока я стояла здесь, держа в руках мокрый лозняк, мой пассажир, вероятно, уже подходил к Куприяновке.

Разложив ветки, я попыталась дать задний ход. Не тут-то было! Я подкопала колею. Машина не сдвинулась с места. Сыпал мелкий дождь, я успела промокнуть. Махнув рукой, я залезла в машину и стала соображать, что делать дальше.

В это время я услыхала свист.

Кто-то невидимый, скрытый ивняком, шел по тропинке вдоль речки и насвистывал. Спустя несколько минут он показался на дороге.

Это был молодой парень без шапки, в трикотажной рубашке с короткими рукавами. От дождя рубашка облепила плечи, по лицу и мокрым, свисающим волосам текли водяные струйки. Он был лобастый, с носом «уточкой», с длинной шеей. Но лицо его дышало такой свежестью, таким радостным изумлением, столько в нем светилось добродушия, что нельзя было не залюбоваться им.

— Буксует? — сказал он и обошел вокруг машины. — Да тут и дело чепуховое! Подтолкнуть — вы и выедете…

Он уперся руками в багажник, я включила скорость, машина качнулась разок-другой и выскочила на пригорок.

— Спасибо большое! — сказала я. — Без вас мне бы здесь до вечера возиться. Садитесь, подвезу. Вам куда?

— Да мне пройтись в охотку… — Он с тем же радостным изумлением посмотрел на меня.

— Это под дождем-то? Садитесь…

— Можно и сесть, — согласился он. — Мне до Крутогорска.

Он залез в машину, и мы покатили снова.

— На стройке в Крутогорске работаете?

— Ага. Слесарем-водопроводчиком.

— Где учились?

— В ремесленном. Сейчас в вечернем техникуме занимаюсь. Скоро экзамены, а тут… — Он со счастливой отчаянностью махнул рукой.

— Что-нибудь стряслось?

— Завтра женюсь! — сказал он и повернул ко мне лицо, сияющее все тем же радостным изумлением, словно он сам не мог поверить тому, что с ним случилось. — Честное слово! Женюсь — и все!

— Что ж, поздравляю! А кто она?

— Бетонщица. Два года рядом работали. Просто смех! Два года рядом — и ничего. Тоня и Тоня, и все тут. И вдруг глянул… Тоненькая она такая, из себя беленькая. А руки ухватистые, бетон укладывает — будь здоров! Посмотрел я, стоит она на стройке, курточка синяя, шаровары, голубая косынка в горошек… И таково это она весело поворачивается, таково ловко да знатно… И тут во мне что-то словно охнуло. Стою, как фонарь, и уйти не могу. Пропал — и конец! — Он покрутил головой. — Верите, полгода ходил за ней, как привязанный. И выходил! — Он опять широко улыбнулся. — Завтра женюсь! Ну что ты скажешь — женюсь, и все!..

Впереди показался мокрый березняк, за ним был поворот на Крутогорск.

— Вы меня здесь высадите, — спохватился пассажир, — Я пешком пройдусь. В такую погоду прогуляться одно удовольствие. Я ее до дома проводил, она в Сусекино живет, с отцом и матерью. А с завтрева уж в Крутогорск переедет. Была Касаткина, станет Бродий. Антонина Бродий. Ах ты, боже мой!

Я остановила машину, он выскочил и пошел под дождем по дороге.

И снова я услыхала, как он свистит.

Он свистел, как птица, и шагал, подставляя лицо теплым струям дождя, размахивая руками, не в силах сдержать переполняющее его безудержное счастье.

А я поехала дальше.

Встреча

Жаркий летний день, над асфальтом площади вьется зной. Как всегда, в этот час здесь очень людно. Я стою в тени липы, неподалеку от агентства Аэрофлота. Отсюда хорошо видна вся площадь: Музей Ленина, округлый подъем на Красную площадь, по которому непрерывно движется живой поток, тень Александровского сада вдали и обелиск, вытянувшийся, как часовой.

Стою я долго, ожидая товарища, с которым должна вместе уехать. Чтобы скоротать ожидание, начинаю старую и вечно новую игру: стараюсь угадать профессии тех, кто идет мимо.

На это занятие уходит довольно много времени.

Я уже угадала командировочного инженера, угадала приезжих в добродушной, изнемогающей от жары супружеской паре, нагруженной сумками, пересекающей площадь с той неуверенностью, какая бывает у людей, попавших в Москву впервые; определила туриста в высоком малом, что шагает, засунув руки в карманы, глазея по сторонам, с фотоаппаратом, болтающимся на плече…

Красивая, очень сосредоточенная женщина с маленьким чемоданчиком в руках — вероятно, врач поликлиники. Прошагали влюбленные, взявшись за руки. Прошла продавщица мороженого, слесарь-водопроводчик с торчащим из кармана разводным ключом, известный артист…

Под деревом, неподалеку от меня, стоит человек в соломенной шляпе. Это плотного сложения блондин лет сорока трех с добрым, пухлым ртом. Он снимает шляпу, вытирает ее изнутри платком, и тогда видно, что волосы у него коротко подстрижены, а над бровью глубокий шрам. Я смотрю на него, и он смотрит на меня. Смотрит рассеянно и вместе с тем сосредоточенно, как человек, занятый своими мыслями.

— Скажите, пожалуйста, это действительно площадь Революции? — наконец спрашивает он и вытирает лоб.

— Да.

— Может быть, и там площадь Революции? — Он показывает в сторону Малого театра.

— Нет, там уже другая площадь — Свердлова. Вы кого-нибудь здесь ждете?

— В том-то и дело, что жду, — говорит он. — В том-то и дело…

Кого он ждет?

Сколько судеб, сколько человеческих историй сталкиваются с

нами каждый день!

Они проносятся в поездах метро, проходят, едва коснувшись дыханием, по улице, беззвучно проплывают мимо нас в звездном блеске московского вечера, как незнакомые планеты… Сколько рассказов исчезают нерассказанными, сколько радостей и горестей подчас остаются неразделенными! Большой город Москва, необыкновенный город Москва, если можно было бы все увидеть в тебе, все узнать…

Я делаю шаг вперед и спрашиваю:

— Кого же вы ждете?

Человек в соломенной шляпе поворачивает ко мне голову.

Он добродушно улыбается, пожимает плечами. Потом просто и охотно, словно перед привычными слушателями, начинает рассказывать.

И я слушаю, стараясь ничего не пропустить, слушаю под грохот автобусов, под разноголосый шум, стук шагов, гул, шорох покрышек по асфальту — под всю музыку, наполняющую полуденную площадь.

Вместе со мной слушает женщина в платье горошком, ожидающая автобуса на аэродром, и ее муж, озабоченный толстяк, не спускающий глаз со своих чемоданов.

Человека зовут Андрей Петрович Сергейчук. В первые месяцы войны он был молоденьким старшиной. Старшину послали с поручением в штаб воинской части. По дороге он попал под бомбежку, успел выскочить из машины, а когда бомбардировщики скрылись и старшина вылез из кювета, он увидел, что над станцией впереди стоит черный дым и пламя.

Горела больница.

Заплаканная девчонка-санитарка суетилась возле простыни, на которой лежали, как два тоненьких, аккуратных поленца, спеленатые новорожденные. Они заходились от крика.

Рядом, на другой простыне, спала молодая женщина. Она спала крепко, подвернув под себя босую ногу, сжав длинные темные ресницы, — молодая, с длинной распущенной косой, в белой рубахе до пят. И по грозной, бездыханной красоте ее окаменевшего лица старшина понял, что женщина мертва.

Санитарка, продолжая плакать, кинулась к нему, умоляя забрать новорожденных и довезти до города, где был родильный дом. Пока он раздумывал, она начала укладывать младенцев к нему в машину.

— Маму ихнюю убило, — говорила санитарка, всхлипывая. — Маму ихнюю насмерть убило…

Старшина растерянно глядел на плачущую девушку, на больных, которых выносили в кроватях и носилках из руин бойцы

ПВО, на пожилую, бледную, как ее халат, женщину-врача, прижимающую к себе ящик с медицинскими инструментами…

— Садись, поехали! — наконец сказал он, решившись.

— Куда поехали? — уставилась на него санитарка. — Я отлучиться не могу! Вы уж как-нибудь сами… Сдадите главному врачу — и все: он о младенчиках позаботится. Номерки у них к ручкам привязаны, там и родителей фамилия… Только уезжайте скорей! Голубчик, миленький, уезжайте скорей!

Тут завыла сирена воздушной тревоги, старшина нажал стартер и ринулся вперед, увозя с собою двух крошечных плачущих детей, две доверенные ему человеческие жизни.

Когда он добрался до въезда в город, где находился родильный дом, то услышал, что на улицах частит, захлебываясь, пулемет; рядом просвистела автоматная очередь. Развернув машину, старшина помчался в объезд. Два маленьких человека, лежащих рядом с ним на сиденье, притихли, словно поняли, что им грозит. Но не успел он добраться до объезда, как они закричали снова.

Он сообразил, что малыши просто хотели есть. Ближайшей деревней была Понизовка, он решил задать туда и попытаться накормить детей. Но в Понизовке не оказалось ни одной кормящей матери.

Колхозницы перепеленали малышей, но те продолжали заливаться требовательным плачем. Старшина снова сел за руль. Рядом уселась тетя Анисья, у которой была золовка в деревне Ковшино. Тетя Анисья обещала найти в Ковшине молодых матерей.

— Накормят! — сказала она убежденно. — Наших, ковшинских, молоком бог не обидел — одна мама троих уважит…

Они уже подъезжали к Ковшину, когда снова налетели бомбардировщики. Старшина и тетя Анисья выхватили малышей из машины, положили их в ямку, заросшую повиликой, и легли поверх.

Самолеты, покружившись над дорогой, улетели прочь. Старшина высунул голову, тетя Анисья продолжала лежать среди повилики, охватив детей руками, словно наседка, защищающая цыплят.

Только теперь старшина мог рассмотреть своих крошечных пассажиров.

Он слыхал, что все новорожденные похожи друг на друга. Это была неправда: один кряхтел, другой жалобно чмокал; на голове у него темнели легкие, как пушинки, волосики.

Тот, что с черными волосами, опять заревел — на этот раз так громко, будто вырос за час. «Неужели они могут умереть? —

думал старшина, глядя на малышей. — Еще ничего в жизни не увидели — и уже сироты… Неужто не уберегу их?»

Вместе с тетей Анисьей он уложил малышей в машину и тронулся в Ковшино.

Анисья оказалась права. Пока ее золовка хлопотала возле ребят, она успела обежать улицу, и в избу вошли две рослые сумрачные молодухи. Они разобрали малышей; в комнате наступила тишина, только слышалось ровное, блаженное причмокивание.

— Видал наших, ковшинских? — сказала тетя Анисья с печальной гордостью. — Во орлицы!

Через полчаса старшина снова сидел за рулем. Машина катила по проселку, малыши спали крепким казацким сном, а в ветровом зеркальце старшина видел тетю Анисью, одиноко стоящую на дороге. Пожилая, румяная, печальная, она стояла неподвижно и глядела вслед уходящей машине.

До пункта назначения он добрался к вечеру. Первое, что он увидел при въезде, были детские ясли, откуда выносили на грузовик имущество, чтобы отвезти детей в тыл. Высокая усталая девушка в белом халате, сперва ничего не могла понять, когда старшина, быстро выгрузив крошечных пассажиров, потребовал у нее расписку. Потом молча, внимательно поглядела на него.

— Как ваша фамилия? — спросила она тихо. — Чтобы я запомнила вас…

— Сергейчук! — сказал он браво, приложив руку к пилотке. — Старшина Сергейчук Андрей Петрович…

Ночью он отправился обратно. И на следующий день старшина Сергейчук принял со своей частью первый в его жизни бой.

…Рассказав все это, человек в соломенной шляпе вдруг испытующе и тревожно посмотрел на нас.

— Может, вы мне не верите? — спросил он. — Может, вы это в кино видели и сейчас думаете: «Это уж он присочинил!» Так в кино как раз про меня и было, это я самый и есть! Только там кое-что подбавлено, конечно… Для слога, — добавил он, помолчав.

Наступила пауза. Бывший старшина посмотрел на часы и пожал плечами.

— Ума не приложу, куда парень делся! — сказал он огорченно. — Давно пора тут быть!

— Какой парень? Кого вы ждете?

— Да понимаете, как было дальше… Мы с этой девушкой из яслей все же встретились. В прошлом году, в доме отдыха под Гурзуфом. Не поверите, узнала меня! Девятнадцать лет прошло, а узнала! Хоть бы красивый был, а то сам, как трость, нос, что

гвоздь… — Он засмеялся. — Ну и она, конечно, не помолодела. Сейчас детским домом заведует… И оказалось, что с одним парнишкой, из тех близнецов, что я в машине вез, она до сих пор переписывается! Он на стройке в Запорожье работает. Даже чудно! Ну, написал я ему, он ответил, фотокарточку прислал… Здоровяга, в плечах косая сажень. Просто не подумаешь, что было такое малое, величиной с бутылку… — Он покачал головой. — Сейчас я в отпуске, он тоже в отпуск пошел. И договорились мы встретиться в Москве, на площади Революции. Жду его уже час.

— Что ты стоишь, Петя, я не понимаю? — скала своему мужу женщина в платье горошком вытерла глаза. — Пойди к станции метро, посмотри, вдруг он там! Он же первый раз в Москве. Мог и спутать.

Муж послушно идет через площадь. Теперь мы уже все трое вглядываемся в прохожих.

Спешит человек с портфелем, проходит девушка на тонких каблучках, опять влюбленная пара… Можно подумать, что внутри громадной Москвы есть второй маленький город, где живут только влюбленные. Прошел румяный летчик, старичок с палкой, какая-то непонятная сердитая тетка в мужской тюбетейке…

Вдруг я вижу, как через площадь быстро шагает высокий парень с непокрытой головой, в сером костюме и голубой рубашке с галстуком. Все на нем новое, очевидно, только вынутое из чемодана, и топорщится, как на первокласснике.

Не замечая, что мы на него смотрим, он озирается по сторонам, как всякий впервые приехавший в Москву.

И тут новый наш знакомый бежит вперед.

— Сынок! — кричит он и краснеет от неожиданно произнесенного слова.

Парень останавливается, будто его обожгло.

Через секунду они крепко обнимаются; старший хлопает с размаха молодого по спине, по плечам, как положено при мужской встрече…

И вот они стоят и глядят друг на друга. Оба улыбаются, оба смущены, растроганы и не знают, с чего начать.

Рука старшего лежит у юноши на плече.

Рука солдата, рука рабочего человека, строителя мира и добра на земле.

Воспитанный человек

Это был очень пожилой человек с седой бородкой клинышком, в подпоясанной ремешком косоворотке и старомодной шляпе. На станцию Кратово он, видимо, приехал в гости: розовые щеки его были чисто выбриты, накрахмаленная косоворотка сияла белизной. Под мышкой он держал коробку с печеньем. Сойдя с дачного поезда, он бодро зашагал по улице и исчез за углом.

День был жаркий, в воздухе стоял смолистый зной. Я долго шла по выбеленной солнцем дороге. Неожиданно навстречу вынырнул уже знакомый старичок в косоворотке. Вид у него был далеко не такой бодрый и накрахмаленный, как в начале пути: лоб покраснел, по щекам струился пот.

— Вы не знаете, где улица Ломоносова? — спросил он и вытер шею платком.

Видимо, он изрядно устал. К сожалению, я не могла ему помочь: эту местность я знала плохо. Впереди шагала молодая женщина, держа в обеих руках тяжело нагруженные сумки. Он обратился с тем же вопросом к ней.

— Да вы совсем не туда забрались! — сказала она не слишком приветливо и поставила на дорогу сумки. Лицо у нее было сердитое. — Идите до трансформаторной будки, а потом четвертый переулок направо.

Она рывком схватила свою тяжелую поклажу и зашагала дальше.

До четвертого переулка оказалось добрых сорок минут хода. Но когда мы наконец дошли, выяснилось, что это вовсе не улица Ломоносова.

Косоворотка старичка взмокла, на щеках выступили пятна. Бабушки с детьми, попадавшиеся навстречу, знали только те улицы, где жили сами. Путник шагал наугад, а я шла вслед за ним, направляясь к темнеющей впереди роще.

— Что за пропасть! — наконец сказал старичок с отчаянием и остановился. — Хоть обратно возвращаться впору. А ведь меня здесь товарищи ждут, у нас сегодня традиционная встреча однокурсников Московского университета… Сорок шесть лет подряд собираемся друг у друга — и вдруг опоздать из-за того, что улицы найти не могу!

Раскаленная от солнца дорога была пустынна. Нянька с детской коляской, идущая навстречу, оказалась глухой, как пень. Махнув рукой, старичок повернул назад. И в это время мы оба увидели быстро шагающую женщину с двумя сумками в руках.

Лицо ее было более сердитым, чем при первой встрече.

— Не угнаться за вами! — закричала она. — Мчитесь, как Владимир Куц! Улица Ломоносова будет не направо, а налево… Полчаса за вами бегу, да еще с тяжелыми сумками… С ума сойти!

Старичок озадаченно смотрел на нее, вытирая платком потные щеки.

— Помилуйте, это вы из-за меня бежали? — наконец спросил он.

— А из-за кого еще? — сердито сказала женщина. — Мне-то идти совсем в другую сторону…

— Благодарствуйте, но не стоило вам так утруждаться! — вежливо произнес старичок. — Я б уж как-нибудь сам…

— Я бы рада не утруждаться, да не могу. Не так воспитана… — сказала женщина и вдруг засмеялась. Лицо ее сразу похорошело. — Когда сообразила, что ошиблась и послала вас не по той дороге, — побежала вслед, будто меня кипятком ошпарило, — продолжала она. — Вы же, думаю, до вечера будете эту улицу искать…

Оба красные, уставшие, они некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом женщина снова подхватила свои сумки и повернула назад, а старичок, церемонно приподняв шляпу, зашагал на улицу Ломоносова.

И надо же было так случиться, что в этот же день я услыхала слово «воспитание» еще раз.

Я возвращалась в Москву местным поездом. Напротив на скамейке сидели две женщины средних лет и оживленно разговаривали. Судя по беседе, они давно не видались и сейчас с удовольствием вспоминали прошлое и рассказывали друг другу, как живут сейчас. В это время, расталкивая стоявших в проходе, через вагон пробирался явно подвыпивший человек. Он прихрамывал: на правой ноге у него был протез. Окинув взглядом пассажиров, он задержал свои красные глаза на двух беседующих подругах.

— Расселись… — сказал он вызывающе. — Разговорились, места другого не нашли… А ну, уступи место инвалиду! — рявкнул он.

Было видно, что он приготовился к стычке и с наслаждением ждал, что женщина не захочет встать. Но она тут же вскочила.

— Простите, пожалуйста! — сказала она смущенно. — Я вас не заметила…

Пассажир сел на ее место, потеснив в угол вторую подругу.

— Не заметила… — повторил он с издевкой. — Знаем мы вас! Совести не имеете. Вишь, кудри завила, старая тетка…

— Нельзя ли потише? — сказал кто-то в проходе.

— А ты откуда взялся, защитничек? — грозно произнес пассажир и повернулся всем корпусом по направлению к говорившему.

В проходе, засунув руки в карманы, стоял худощавый человек в кепке.

— Слушать противно, — сказал он очень спокойно. — Уши вянут.

— Вот оно как! — сказал пассажир с расстановкой. — Когда я кровь проливал, без ноги остался — ты, небось, на печке дома сидел. А сейчас вишь какой храбрый!

— Эх ты, невоспитанная душа… — сказал человек в кепке, покачав головой.

Он медленно вытянул руки из карманов, и по вагону пронесся шелест, будто сразу все глубоко вздохнули: вместо рук у него были два металлических крюка.

— Тычешь людям в глаза своим увечьем, — продолжал он. — А я с этими крюками на заводе работаю. И по пивным не шляюсь, не требую, чтобы женщина в вагоне мне место уступила, не кричу, что на войне руки потерял… Эх ты!

— Учить меня будешь… — неуверенно пробормотал беспокойный пассажир и отвернулся.

Спустя несколько минут он пробрался к выходу и исчез. А на его место опять села та же соседка.

В вагоне наступила тишина. Человек в кепке сосредоточенно смотрел в окно. И мне показалось, что многие в эту минуту задумались над тем же, о чем думала я.

«Воспитанная душа», воспитанный человек… Что же такое воспитанный человек?

Я не хочу «освободить» это понятие от таких черт, как обычная вежливость, уменье вести себя в общественном месте или правильно держать нож и вилку во время еды. Все это, как и многое другое, обязательно для каждого воспитанного человека.

Но сейчас мы вкладываем в понятие «воспитанный человек» еще и новый смысл, оно становится полнее, значительней, глубже. Надо уметь не только укоренять его черты в себе, но и развивать в других. В связи с этим мне хочется рассказать еще об одной сцене, свидетельницей которой я недавно была.

Очень известная и очень любимая актриса, пожилая седая женщина, входя в учреждение, открыла тяжелую дверь и вежливо придержала ее, пропуская идущих за ней следом. За актрисой шли молодые сотрудники того же учреждения. Они заулыбались, увидев любимую героиню многих фильмов, и, один за другим, беззаботно входили в дверь, которую та продолжала учтиво держать.

И никто из них не подумал, что элементарная воспитанность требует пропустить пожилую женщину вперед, а не заставлять ее, как швейцара, держать тяжелые двери, пока вся эта молодежь, шумно восхищаясь ее талантом, валила мимо нее…

Одна из неотъемлемых черт хорошего воспитания — уважение к другому. Без этой черты — в чем бы она ни сказывалась, в большом или в малом, — нельзя себе представить подлинно воспитанного человека.

Врач П.Судейкин прислал в редакцию письмо, полное обиды и горького изумления. Взяв отпуск, он работал над кандидатской диссертацией. Дело было летом, семья его уехала в деревню, разъехались и другие обитатели большой квартиры. Остались только двое: будущий диссертант и его соседка по квартире, Клавдия Петровна Соколова, заведующая ателье дамского платья. Она тоже была в отпуске.

И вот каждое утро, едва Клавдия Петровна открывала глаза, она включала радио на полную мощность.

Она слушала все подряд: утренний урок гимнастики и лекцию по укладке бетона, эстрадный концерт и «Пионерскую зорьку».

Напрасно сосед закрывал наглухо окна, изнывая от духоты. Напрасно он завешивал одеялом двери. Могучий радиоприемник работал на славу. Напрасно несчастный диссертант обращался в домоуправление, в райсовет, даже в милицию… Клавдия Петровна хладнокровно отвечала, что включает радио только в положенные часы.

Эту квартиру в доме на Таганской площади я нашла безошибочно: гром музыки вел к ней, как радиолокатор. Двери открыла сама Клавдия Петровна, пухлая блондинка с пунцовыми щеками. Волосы ее были завиты, ногти на коротких ручках покрыты лаком.

— Вы, наверное, к Павлу Сергеевичу? — сказала она вежливо. — К сожалению, он вчера уехал к семье в деревню…

Недавно я проезжала через Таганскую площадь. Этого дома уже нет — его снесли. Возможно, Клавдия Петровна живет сейчас в своей новой квартире одна. Возможно, она уже никому не отравляет существования своим радиоприемником, не превращает благородное изобретение науки в орудие пытки для несчастных соседей. Все это вполне вероятно.

Но мерзкая сила неуважения к другому человеку… Быть может, она по-прежнему живуча в ней? От этой силы не отделишься капитальной перегородкой. Она скажется где угодно: на работе, в трамвае, в доме отдыха…

Всюду, где есть люди.

— Я человек культурный! — небрежно улыбаясь, сказала Клавдия Петровна, когда я пыталась беседовать с ней. — Помилуйте, ведь я сейчас в отпуске. Разве я лишена права проводить свой отпуск так, как я хочу?

Нет, никто не лишал ее этого права. Ей, как и всем другим, дано очень много прав на нашей земле. Кроме права на эгоизм, на неуважение к другому, на душевную мерзкую грубость.

Что заставило женщину, которую я встретила в Кратове, бежать за незнакомым ей человеком, чтобы сказать ему, что она по ошибке указала ему дорогу неверно? Ничто, кроме уважения к его времени, его отдыху, его планам. А если вдуматься, то и уважения к самой себе.

«Не так воспитана…», — сказала она о себе.

Семья, школа, товарищи и она сама — все, вместе взятые, были строителями ее нравственного воспитания, Душевной требовательности к себе.

Это нравственное воспитание укоренилось, видимо, в ней так глубоко, что она не в силах была изменить ему даже в мелочи. Усталая, измученная жарой, она мчалась вслед за незадачливым путником, бросив свои дела, волоча тяжелые сумки, сердясь, быть может, и на него, и на себя…

«Эх ты, невоспитанная душа!» — сказал человек в кепке, стоявший в проходе дачного поезда.

Мне накрепко запомнилось его худощавое лицо с выступающими скулами, его спокойные немигающие глаза и то удивительное, полное неуловимого презрения и вместе с тем достоинства движение, когда он показал людям свои руки, где вместо кистей были два грубых металлических крюка.

В этом переполненном вагоне, быть может, не один человек испытал горе утраты. Раны, нанесенные войной, заживают тяжко. «Что же ты бередишь их? — читалось в этих светлых, прямо смотрящих глазах. — Что попрекаешь людей своей бедой, будто ты один узнал ее? Почему не уважаешь чужой покой, чужую боль, чужое счастье?»

Быть хорошо воспитанным человеком — это прежде всего значит глубоко уважать тех, кто живет рядом с тобой на нашей земле. Тех, кто делит с тобой и труд, и хлеб, и солнце, кто строит вместе с тобой большой, светлый, новый мир.

Всё остается людям

Как-то довелось, мне выступать в Московском университете, на факультете журналистики.

Встреча эта была очень интересной и, быть может, заслуживает того, чтобы рассказать о ней отдельно. Но сейчас я вспомнила о ней по другому, частному поводу. Среди записок, которые я получила в конце беседы, была такая:

> «Расскажите о ваших записных книжках. Наверное, в них есть многое, о чем вы еще не успели написать. Расскажите о людях, которых вы встретили в этом году, об их характерах, их судьбах».

Случилось так, что записку эту я прочла только дома, когда разбирала всю «почту», полученную в студенческой аудитории. Маленькая, написанная на листке, вырванном из студенческой тетради, она, очевидно, осталась по случайности незамеченной. Я очень огорчилась, поняв это. Держа в руках листок бумаги, разглядывая круглый, энергичный почерк, я старалась представить себе, что я ответила бы автору.

Потом вытащила записные книжки этого года и стала их читать.

Перечесть записную книжку — это значит повторить снова поездки и командировки, опять побывать в тех местах, где уже была однажды, опять поговорить с самыми различными людьми, увидеть их лица, услышать голоса, пережить то, что переживала во время беседы с ними…

Одни страницы записной книжки размыты дождем: это я попала под ливень, когда была в Грузии. На других брызги штукатурки: это я толковала с рабочими на стройке. Между строчками попадались записанные номера телефонов, фамилии людей, с которыми подчас так и не удавалось встретиться, имена тех, о ком я писала, и тех, кто стал потом, для меня не только героем очерка, но и моим другом… Словом, многое можно было припомнить, перелистывая порядком измятые страницы. И вот я наткнулась на одну запись. Едва я стала вчитываться в нее, как на меня вдруг пахнуло запахом свежести, влажной травы, осенних роз, смолистым духом самшита… Ветер южной земли, чистый и сильный ветер воспоминаний повеял мне в лицо, и я вспомнила все, что увидела в тот день, так явственно, словно это было вчера.

Я расскажу вам сейчас об этом дне. Осенью я была в командировке в Тбилиси. Накануне возвращения в Москву один

из моих товарищей, местный тбилисский журналист, сказал:

— Послушайте, я обязательно хочу познакомить вас с одним человеком. Оставьте все дела, поедемте к нему — вы не пожалеете об этом… Я не хочу вам ничего предварительно о нем рассказывать: вы все увидите сами.

Через несколько минут мы уже сидели в машине и катили вдоль набережной, где, закованная в новые берега, несла свои кипящие, быстрые воды могучая Кура.

Ехать пришлось довольно далеко. Наконец машина завернула в узкий переулок и остановилась. Спутник мой толкнул завитую зеленью калитку. Мы вошли.

Никогда не забуду зрелище, которое мне открылось.

Это был сад, крошечный, как удивительная миниатюра, и, как создание художника, прекрасный.

Красота его заключалась не только в цветах и деревьях, хотя все, что росло там, поражало своими красками, роскошью цветенья, силой жизни.

Красота его поражала другим: своей гармонией, цельностью, я бы сказала, архитектурной композицией.

Умная рука подлинного художника природы соединила цветы и камни, кустарники и травы, деревья и мхи в такие тонкие и прекрасные картины, что они открывались как подлинные произведения искусства.

Я не ошиблась, произнеся слово «картины».

Никак иначе нельзя назвать, допустим, гармоническое сочетание дикого камня, вьющегося темно-зеленого растения, цветка, пылающего, как язычок пламени, прорвавшийся между каменными трещинами, агавы, возвышающейся в центре наподобие обелиска, поставленного самой природой, и озорного, непослушного, как локон ребенка, розового цветка альпийской фиалки, живущей на этой палитре как торжество розовой акварельно-чистой краски.

Эти удивительные ландшафты, размещенные на крошечных площадках, не превышающих, порою, по размеру обычный холст художника, открывались на каждом шагу.

Весь маленький сад был пересечен дорожками, извилистыми, выложенными диким камнем тропинками, тенистыми аллеями, над которыми свисали тяжелые, плотные кисти винограда. Над цветами вились пчелы; густой, влажный воздух, наполненный их гуденьем, казалось, протяжно пел, как виолончель.

Искусное размещение дорожек, мастерская планировка сада делали этот маленький участок глубоким, рельефным, открывали множество дальних планов. Они придавали саду магическую поэтичность.

И вам начинало казаться, что по этому саду можно бродить долго, бесконечно, раскрывая снова и снова эти удивительные хрупкие пейзажи, палитры живых красок, волшебство тени и света, волны запахов, насытивших воздух, крепкий и хмельной, как вино. И, неустанно щебеча, по этой волшебной земле бежала и вилась легкая серебряная нить ручья.

Да, действительно это было прекрасно.

И все же больше всего поразили меня не красота пейзажей, не цветы и краски, а нечто другое.

Весь сад был заполнен людьми.

Они бродили по дорожкам, присаживались на пеньки или превращенные в маленькие скамьи стволы срубленных деревьев и задумчиво разглядывали живопись природы. Как очарованные странники, они блуждали в душистой тени листвы.

Здесь были люди самых различных возрастов — от пионеров до почтенных стариков. В одних можно было узнать завсегдатаев этого сада; другие, по видимости, пришли сюда впервые; третьи приехали специально из других городов, чтобы взглянуть на это маленькое чудо.

Завсегдатаи давали пояснения новичкам. Те расспрашивали, почтительно и внимательно.

Но как бы различны ни были посетители, их сближала одна черта.

Они разглядывали все живое, что росло в саду, с вдумчивостью натуралистов, любовались им, как любуются картинами в музее, и гордились им, как гордятся чем-то бесконечно близким и дорогим.

В этом саду они не чувствовали себя случайными посетителями или незваными гостями.

Они входили сюда, как входят в хорошо знакомый дом. Каждый из вошедших, едва освоившись, уже начинал помогать другому, старался показать ему то, что только что увидел сам, старался помочь познакомиться с новой страницей живой книги природы.

Ничего случайного не было в этой движущейся по дорожкам веренице людей, хотя, безусловно, большинство из них встретилось здесь случайно.

Но все они — я чувствовала это безошибочно — пришли сюда с серьезной, обдуманной целью, являющейся чем-то очень органичным и важным в их жизни.

Я стояла на пересечении двух тропинок, возле осыпанного пурпурными цветами кустарника, названия которого я не знала, а мимо меня все шли и шли люди.

Всмотревшись, я увидела, что у этого живого потока было

единое направление. Побродив по саду, рассмотрев все, что его наполняло, посетители скрывались за разросшейся виноградной лозой, образовавшей над одной из дорожек зеленый сквозной тоннель. Скрывались и исчезали из глаз.

Тогда решила пойти туда и я.

Пройдя под листвой и тугими кистями винограда, я увидела впереди маленькую, залитую солнцем площадку.

Вокруг площадки, сгрудившись, тесно стояли люди. Одни из них задавали вопросы кому-то, кого я не видела. Другие сосредоточенно слушали. Глубокая внимательность была на их лицах.

Я подошла ближе.

В центре площадки, на сухих бревнышках, сложенных в тени лимонного дерева, сидел маленький старичок.

Он сидел, упершись в бревно большими, темными кистями рук, с интересом глядя на пришедших блестящими карими глазами. Голос его был негромок, но каждое слово явственно и звучно раздавалось в душистой тишине сада.

Это и был создатель волшебного сада, художник природы Михаил Мамулашвили.

В Грузии называют его народным художником-садоводом. И он действительно народный художник.

Все, что создано им в этом саду, все, что создает и изобретает его пытливый ум натуралиста, красота, которую утверждает он в природе, — все это принадлежит народу, делается для народа.

Суть не в том, что он давно подарил свой сад государству.

Я говорю о чем-то большем.

Он отдал народу не только выращенные им цветы и деревья, не только созданные им живые картины природы, но и все свои стремления, свои поиски и находки, свои мысли и раздумья.

Каждый человек, переступивший порог этого сада, покидал его обогащенный.

Это мог быть добрый совет или растение для посадки, это мог быть пакетик семян или практическое указание, это мог быть чертеж планировки грядок или философское раздумье.

Но чем больше я слушала простую, безыскусственную беседу этого старого человека со всеми пришедшими к нему людьми, тем глубже я убеждалась, что каждый из них уносит с собой и частицу его сердца.

Сейчас, перелистывая страницы записной книжки, я перечитываю записи, сделанные в тот осенний день, когда и я стояла на этой маленькой, залитой солнцем лужайке возле сидящего на бревнах худенького, высохшего, как лист, очень старого человека, который долго прожил на нашей земле.

Я записала тогда некоторые из его высказываний. Вот они:

«Человек нашего общества должен быть гармонически развит. Потребность в красоте, влечение ко всему прекрасному, стремление создавать и утверждать красоту на земле — одна из его черт. Красота земли, красота природы принадлежат народу. Каждый из нас должен вносить свою долю труда в это бесценное богатство».

«Не надо украшать природу — она и без того прекрасна. Надо только помочь ей вслух высказать людям то, что хранится в ее глубинах. Надо расчистить лишнее, убрать то, что мешает увидеть, как она прекрасна».

«Природа, все живое в ней, — это драгоценный учитель ребенка. Познав природу, ребенок должен чувствовать с малых лет, что он не баловень ее и не расхититель, а труженик. Надо воспитывать в ребенке друга и помощника природы».

«Я не уважаю тех, кто прячет для себя одного, эгоистически и надменно, то, что создал он в живом мире, что вырастил на земле. Не достоин уважения, по-моему, и тот, кто хвастает и хвалится тем, что он сделал в природе. Мудрая и величавая природа не любит болтунов».

«Не надо забывать о том, что у людей будущего должны быть в избытке и хлеб, и розы».

Снова и снова перечитываю я эти строки, и перед глазами моими встает высохшее, морщинистое лицо художника природы, его живые блестящие глаза, тяжелые кисти рук.

Посетители сада понемногу расходились, дорожки пустели, по аллеям заструилась золотая осенняя тишина.

Близился час отдыха, и люди, пришедшие сюда, помнили об этом часе, уважали покой хозяина, покой его дома.

Упершись в бревна, старый человек медленно встал.

С удивлением и болью я увидела, что беспощадная старость согнула его в дугу.

Девяносто три года прожил он на земле, спина его уже не разгибалась, позвоночник, некогда гибкий, как молодой бамбук, утратил свою стройность. И вместе тем нельзя было не

поразиться быстроте его походки, молодой живости движений.

Мы подошли к нему, чтобы проститься.

Вместе со мною была наша гостья, иностранная журналистка, приехавшая, чтобы познакомиться с жизнью нашей страны.

Она приблизилась к старому человеку, и я увидела, как она почтительно наклонилась и прикоснулась губами к его черной, точно корень, иссохшей руке.

И старый крестьянин без всякого удивления встретил это неожиданное движение чужой души — одно из самых высоких проявлений уважения, какое может оказать человек человеку.

Ибо он понял, что это знак уважения к его труду, к недаром прожитой им долгой жизни, к тому доброму и прекрасному, что он оставил на живой земле.

Как прожили жизнь два солдата

Начало этой истории читатели, может быть, помнят. Ей была посвящена небольшая заметка, помещенная в нашей газете. История эта такова: в городе Армавире некий Т.Б.Пронский написал заявление, где утверждал, что ветеран гражданской войны Ф.А.Ганженко незаконно получает персональную пенсию. Заявление Пронского проверили: факты оказались недостоверными, документы, представленные Ганженко, подтверждали и заслуги старого ветерана, и его законные права на пенсию.

Но вскоре поступило новое заявление от Пронского.

На этот раз он сообщал, что документы Ганженко — фальшивы, а комиссия, разбиравшая дело, проверила их поверхностно. Более того, Пронский заявил инструктору горкома партии, что Ганженко вообще в 1920 году в полку не было: по утверждению Пронского, тот дезертировал и уехал домой в станицу.

Опять началась проверка. Опять запросили Центральный партийный архив, Центральный архив Советской Армии. После тщательных розысков были найдены подлинные приказы, подтверждающие доблестную воинскую службу Федора Ганженко. И неожиданно среди них был обнаружен документ, о котором сам Федор Андреевич ничего не знал: приказ от 31 мая 1922 года. Этим приказом командир 3-го эскадрона 96 кавалерийского полка Ф.А.Ганженко за отличие в боях с контрреволюционными войсками на Южном фронте в 1920 году награждался орденом Красного знамени.

Так клеветник, сам того не желая, помог обнаружить чужую заслуженную награду. И спустя сорок лет боевой орден был с почетом вручен старому солдату.

На этом дело закончилось.

Но дни шли, а мы в редакции продолжали вспоминать его. Что за люди Ганженко и Пронский? — думали мы. Как прожил каждый из них свою жизнь? Что заставляло Пронского с таким мстительным, страстным упорством писать ложные заявления? И вот я поехала в город Армавир, где живут оба участника этой истории.

Был весенний день, когда я шла по улице, продуваемой крепким кубанским ветром. За низкими заборами белели маленькие дома. Я и сама не могла объяснить, почему решила вначале пойти к Пронскому. Я представляла себе их обоих и даже, казалось, видела их, как видят на земле тень и свет. Сейчас

я шла в эту тень, отбрасываемую чужой жизнью, тень смутную, настороженную, и думала о том, каким окажется Пронский и как мы встретимся.

Вот и дом, указанный в адресе. За глухой калиткой двор, сверкающий столь яростным достатком, дом, выбеленный до столь торжествующего сияния, что даже рябит в глазах. На цепи у будки хрипит в злобном лае кривоногая собачонка. У крыльца стоит женщина в платке.

— Пронского? — удивляется она. — Та он уже с нами не живет! Мы раньше вместе жили, — он нам дядя, — а сейчас отделился он и дом себе купил. Неподалечку.

— Вы что, сырым мясом ее кормите, чтоб злей была? — говорю я и смотрю на собачонку, кашляющую от ярости. — Ведь это же такса, добрейшая порода…

— А какой нам толк от доброты? — говорит женщина равнодушно. — Собака — она и есть собака. Добрыми пусть телята будут…

И опять я шагаю по наполненным ветром улицам. И опять забор, и запах вскопанной земли, и дом под железной крышей. Все — похоже, но все — поскромней: видно, хозяйство только начинается, только накапливает силу. И опять на цепи заходится в лае пес — рыжий, с узкой усатой мордой. Но едва на крыльце появляется хозяин, как пес умолкает, словно его заткнули пробкой, и трусливо пятится в конуру.

Человек стоит на крыльце, огромный, сутулый, с длинными руками, с крупным костистым лицом и лысой головой. Щеки у него небритые, сквозь седую щетину проступает коричневый румянец загара. Все у него крупное: руки, ноги, плечи. Маленькие только глаза; они глубоко посажены и от этого кажутся еще меньше. Но смотрят они зорко; и взгляд у него цепкий, острый, оценивающий.

— Простите, это вы Тимофей Борисович Пронский?

— Я Пронский… — говорит он глуховато и отступает, открывая дверь. — Заходите…

В комнате жарко натоплено и тесно: повсюду стоят ящики с рассадой. Я сажусь; хозяин смотрит на меня, в глазах его мелькает сторожкое ожидание. Разговор начинается.

Я не следователь, не прокурор. Я только прошу моего собеседника рассказать о его собственной жизни. О том, как он ее прожил, о том, что было для него в этой жизни главным. Он смотрит на меня, — все так же сторожко, оценивающе. Потом достает большой платок и вытирает голову и лоб: я вижу на его висках испарину.

Передо мной очень пожилой человек, — ему шестьдесят

шесть лет. По его словам, он знает Федора Ганженко всю жизнь. В детстве они жили в одной станице, Федор старше его на восемь лет. Он хорошо помнит, как Федор Ганженко ушел из станицы в царскую армию, как тот стал солдатом в войну 1914 года. Потом станичники встретились снова, уже в частях Красной Гвардии. Они были в одном полку, — Федор Ганженко командовал взводом, потом стал командиром эскадрона; Тимофей Пронский был рядовым. В 1920 году Ганженко уже не было в полку, — это он помнит точно. В 1920 году Федор Ганженко…

Я слушаю глуховатый голос и думаю: почему человек, которого просили рассказать о собственной жизни, рассказывает о жизни другого? Почему он так обстоятельно и подробно пересказывает чужую биографию, чужую судьбу? Я повторяю просьбу: рассказать о самом себе. И опять в его глазах мелькает смутная тень.

Люди говорят о своей жизни по-разному.

Одни вспоминают ее нехотя, другие по скромности смущаются, третьи рассказывают о себе с упоением, увлеченно. Этот говорит о своей жизни, поминутно спотыкаясь, словно идет в лесу по тропе, пересеченной узловатыми корнями.

Да и что, собственно, ему вспомнить?

Кончилась гражданская война, начались годы первых пятилеток… Вначале он работал в колхозе. Потом ушел — а дальше? Два месяца — директором ресторана, пять месяцев — агрономом в школе, полгода — директором промкомбината… Из городка в городок, из станицы — в село… В 1949 году директор райпотребсоюза Тимофей Пронский за халатное отношение к обнаруженным хищениям был отдан под суд и исключен из партии.

Пытался ли он вернуть доброе имя, добиться восстановления в партии? Нет. Он уехал на Урал, потом снова оказался в Армавире… И вот уже десять лет, как он нигде не работает.

Работу он бросил, не дождавшись ни срока жизни, ни срока труда. Бросил, не заглядывая в будущее, как бросают ненужную ветошь. Как прожил он десять лет? Вот он сидит, громадный, краснолицый человек, в жарко натопленной комнате, рядом с женой, между ящиками с рассадой; за окном темнеет жирная земля, щебечут птицы…

— Весна началась… — говорю я невпопад, прислушиваясь к пересвисту и трелям за окном.

— Я весны не люблю, — хмуро говорит он. — Какой от ей толк? Одна грязь…

В своей собственной хате, при своем собственном огороде… И нет в глазах счастья. Нет ничего — только настороженность и

тень. И снова человек вспоминает прожитое, неохотно, трудно, путаясь…

«А вот Ганженко…» Опять о Ганженко!

— Мы с ним в 33-й Кубанской дивизии были, — говорит он хрипло. — В двадцатом году он оттуда ушел. Взял коней и ушел. Только не знаю, куда, — до хаты, наверное… Потому я и сказал.

Старый солдат, он отлично понимает, что такое самовольно уйти из боевой части домой. В 1920 году Ганженко был переведен в другую дивизию, воевал на Южном фронте. Сидящему передо мной человеку это известно. И все же он повторяет снова, отводя глаза:

— Взял коней и ушел. А потом мы с ним уже в Армавире повстречались.

…И опять иду я по наполненным ветром улицам. Иду и вспоминаю, слово за словом, все, что сейчас слыхала. И все же не могу понять, какая нить привязала этого человека к чужой жизни, — нить, неразрывная, как страсть, острая, как нож, горькая, как отрава…

И, чтобы разобраться в этом, иду прямо в дом, где живет Федор Андреевич Ганженко.

Еще издали я вижу, что он стоит у калитки. Я и в глаза его никогда не видала, а узнала сразу: статный, с кавалерийской выправкой и седыми висками, в начищенных сапогах и куртке казацкого кроя. Ему семьдесят четыре года, а выглядит куда моложе, и спина у него прямая, как штык. Мы идем в крошечный флигелек, на пороге спит, свернувшись, мохнатый щенок и сопит во сне. Тепло, тикают часы в углу. На кровати лежит прихворнувшая старушка: у нее малярия.

— Вы давно знаете Пронского? — спрашиваю я, чтобы начать разговор.

— Пронского? — он пожимает плечами. — Да я с ним кружки воды не выпил! Знаю его только три года, в Армавире…

— А в станице?

— Вознесенке, стало быть? И в Вознесенке его не помню. Я ведь как, — я то жил там, то уезжал. Я без родителей рано остался, у дядьки рос. А у дядьки только и хозяйства: кобыла, собака да самовар. Он на месте не сидел, он запряжет кобылу, Жучку позади воза привяжет, самовар — в ноги, — поехали работу искать! И по Кубанской дивизии я Пронского не помню: он был в одном эскадроне, я — в другом. Я его жизни не доглядал…

Я молча смотрю на собеседника. Как же так получилось: Пронский знает его всю жизнь, а он помнит Пронского только три года?

Пока я ломаю себе голову, сидящий передо мной седой

человек уже говорит совсем о другом. Он не жалуется, не ворошит историю с клеветой — она надоела, видно, ему до смерти. Он начинает рассказывать о своей жизни, спокойно, памятливо, как рассказывают старые люди о достойно прожитых днях. И эта жизнь раскрывается передо мной.

Он участвовал в боях против Корнилова и Деникина, отступал через Астраханские пески, был трижды ранен, трижды умирал и выжил. В 1918 году, весной, на привале комиссар вручил ему партийный билет, и с той поры он стал коммунистом. После гражданской войны он уехал в станицу, стал членом ревкома, возглавил земельный отдел. Всю жизнь трудился там, куда посылала его партия. Не мыслил своей жизни без труда и работал до семидесяти лет, и всегда был людям нужен, всегда приносил пользу. Не нажил за всю жизнь ни собственного дома, ни кубышки и никогда не льстился на них. Ценил в жизни другое: уважение людей, чистую совесть, добрый труд, хорошее слово. Переболел, когда клеветали на него, но не оступился, не чернил обидчика, перенес испытание, не согнувшись. И когда, через сорок огромных лет, как через высокий перевал, прилетел к нему из далекой молодости орден, заслуженный в боях за родную власть, — он поцеловал его, как целуют боевое знамя. И все, кто собрался тогда в зале, увидели, как высокий старый человек с казацкой выправкой, старый солдат революции, плачет от счастья.

И чем дальше слушала я его рассказ, тем ясней понимала то, что казалось мне раньше загадкой.

Да, Пронский помнит Ганженко всю жизнь.

Чужая судьба проскакала мимо Пронского на горячем быстром коне, он вглядывался в нее неотрывно. Еще мальчишкой он следил за ладным станичным подростком, встречал его, когда тот въезжал в станицу на возу, пыльного, веселого, овеянного ветрами странствий. Потом он нашел его в полку. Что с того, что они были в разных эскадронах? Солдат и чужих командиров знает. Сабля Ганженко отточилась в боях, он стал командиром, он скакал впереди эскадрона в атаке, он приказывал, ему повиновались… Как просачивается в сердце зависть, мучительная, словно болезнь? Она придает глазам человека исступленную зоркость, и он видит чужую судьбу через леса и реки, узнает ее за тридевять земель.

Пронский всегда знал, как живет Ганженко. Каждый из них складывал жизнь по-своему. Пронский считал, что человек, у которого нет собственного дома, не доказал своего существования на земле. Свой дом, свое хозяйство — вот что светило ему ярче всего. Так он и жил: не человек с человеком, а

дом с домом.

И вот он достиг того, о чем мечтал. Но нет у него покоя, нет счастья. И чем дальше к старости, тем больше в душе беспокойства, неуверенности, сомнений, тем острее страх одиночества.

И тем горше зависть.

Он завидует покою Ганженко, его бескорыстию, его прямодушию. Он завидует тому, что Ганженко может жить, не зная зависти, не подглядывая за чужой судьбой, не считая чужих достатков. Он завидует его большой, трудовой жизни, его старости, окруженной уважением. Эта зависть жжет его, терзает, не дает спать по ночам.

Сейчас они с Ганженко встречаются часто: оба они — члены секции ветеранов гражданской войны. Каждый день Пронский видит перед собою чужую достойную жизнь, достойную старость. И он решается заложить под нее мину.

Он не пропускает случая шепнуть злое слово о старом ветеране. Он пишет заявления, распускает смутные слушки. Ему терпеливо разъясняют, что он неправ, он зря порочит честного человека. Но он пишет заявления снова. Пишет до той поры, пока под его ногами не открывается пропасть: вместо зла он негаданно, против воли принес сопернику счастье.

Но конец ли это? Нет, оказалось, еще не конец.

Секция ветеранов порешила созвать общее собрание. И вот Тимофей Пронский стоит перед старыми солдатами.

Маленький зал полон стариков, жилистых, крепких, словно кованных из железа. Одни стоят, опираясь на палки, другие сидят, покуривая самокрутки, крепкие, как спирт. Седые усы, выскобленные солдатские подбородки, загорелые морщинистые шеи… Пронский отирает со лба пот и смотрит в зал. И я вижу в глазах его страх.

Он боится остаться один, совсем один. Случилось то, чего он не ждал: старые солдаты могут исключить его из секции, закрыть перед ним навсегда эти двери. С кем он останется тогда? Он только сейчас это понял. И он начинает говорить, начинает объяснять, путаясь, поминутно вытирая лоб…

— Кончай свои выворотки, Тимофей! — кричат в зале.

— Ты кого корчувал? — раздается чей-то бас. — Мы помещиков корчували, так это законно! А ты своего брата, старого солдата, под корчевку хотел взять. За что?

Пронский просит прощения.

Он стоит, опустив плечи, словно стал меньше ростом. Он просит станичников, старых бойцов, старых товарищей, простить его, он кается в своей вине, клянется, что это никогда больше не

повторится… На лице его багровый старческий румянец, голос срывается…

— Под суд его! — громко и четко говорит кто-то, и Пронский вздрагивает, словно в него выстрелили.

И тут встает Федор Ганженко.

Он идет по проходу, твердо ставя ноги в начищенных хромовых сапогах. Он подходит к Тимофею Пронскому, багровому, потному, и становится с ним рядом. И говорит звучно и решительно, на весь зал:

— Я Пронского под суд не дам! Он старый солдат, как я это забуду? И если он, уважаемые бойцы, просит прощенья за все свои выкрутки, — мне сдается, надо простить.

Он поворачивается к Пронскому, секунду смотрит на него и потом говорит медленно:

— Иди домой, Тимофей! Иди. Пущай твои внуки спят спокойно.

И Пронский уходит. Зал полон народа, старые бойцы шумят, закуривают, громко толкуют… А он уходит.

Я вижу, как он шагает по улице. Кусты скрипят под ветром, деревья машут ветками, у забора сидит взъерошенная от ветра кошка. Я вижу его сутулую стариковскую спину, опущенные плечи. Он идет совсем один. Идет медленно, неуверенно, словно не знает, куда ему свернуть.

Куда он пойдет теперь?

Снег

С утра пошел снег.

Это не был тот снегопад, знакомый и обычный, к которому мы привыкли в Москве, когда утром проснешься и видишь, что все вокруг белым-бело. И ты не удивляешься, а просто говоришь: «Ну, вот и зима!»

Снег выпал в южном городе, и это выглядело, как чудо. Огромные, тяжелые, медленные снежинки падали на землю. Облик города изменился до неузнаваемости, когда его окрасила непревзойденно чистая белизна.

Снег лежал на деревьях, с которых еще не опала осенняя листва, и старые узловатые акации принарядились и надменно охорашивались под ветром. На всех крышах белели пушистые башлыки; бронзовые памятники запахнулись в снежные плащи; водосточные трубы, словно модницы, нацепили на себя украшенья из сосулек, карнизы посмеивались в длинные снежные усы.

Но самым удивительным казался снег, лежащий в городском саду. Взбитый и мягкий, он с притворным послушанием повторял все отпечатки: от зернистого следа новеньких галош до изящного, как китайская графика, рисунка птичьих лапок. Но не успевали вы оглянуться, как снегопад уже стирал их начисто, и опять на дорожке была такая слепящая гладкая белизна, словно никогда не ступали здесь ни человек, ни птица.

Городской сад был в центре города, и отсюда я хорошо видела, как, зарываясь в снег, бегут по улицам троллейбусы, как, окутанные снежной пылью, пробиваются машины… Навстречу по дорожке шагала женщина, она катила по снегу детскую коляску с поднятым верхом. Рядом шел сердитый мальчик лет шести, закутанный так, будто его снарядили на Северный полюс.

— Андрюша, — сказала женщина мальчику. — Я забегу в молочную, а ты побудешь с Любочкой. Помни, ты сейчас старший, а она маленькая. Никуда не отходи и смотри за ней. Понятно?

— Понятно, — сказал мальчик хмуро.

Женщина пристроила коляску у скамьи, укрытой пуховым одеялом снега, и ушла. Мы остались втроем.

Я заглянула в коляску и увидела маленький, как кнопка, розовый нос и два изумленных, широко раскрытых глаза, похожих на светлые капли росы. Любочка не спала. Мальчик снял варежки, набрал пригоршни снега и стал катать снежок. В ее сторону он не смотрел.

— Хорошо, что идет снег, — сказала я. — Правда?

Мальчик кивнул головой.

— Наверное, его уже нельзя будет расчистить, — сказал он с надеждой. — Даже если тыщи дворников возьмут тыщи метелок. Как вы думаете?

— Видишь ли… Есть машины для уборки снега. Это у них получается довольно ловко. А кроме того, снег может растаять.

— А если он все равно растает, зачем он тогда идет? — спросил мальчик.

— Твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков, — начала я и остановилась, увидев, каким стало лицо мальчика. — Я думаю, снег идет потому, что это очень красиво, — сказала я. — Ведь цветы, ты знаешь, тоже осыпаются, а все-таки расцветают, что бы там ни было. И как бы мы стали жить без цветов?

— Это, пожалуй, верно, — согласился мальчик.

Он подошел ко мне и, поколебавшись, сказал доверительным шепотом:

— Я заметил, что у каждой снежинки другой рисунок. Это очень странно. Кто это увидит? Зачем так стараться?

— Но ведь ты же увидел, — сказала я. — Может быть, для этого и стоило постараться?

— Вы так думаете? — спросил мальчик.

С дерева сорвалась стая очень маленьких птиц и улетела, пересвистываясь, словно прозвенели и рассыпались кусочки льда. Девочка в коляске по-прежнему глядела в небо своими светлыми, как роса, глазами.

— У тебя хорошая сестричка, — сказала я.

— Ничего, — сказал мальчик уныло. — Только лучше бы она была сестрой Вовки. Это мальчик из нашего двора.

— Почему так?

— Э! — Мальчик махнул рукой. — Теперь уже папа с мамой думают только про нее. И все время говорят: «Она маленькая, а ты старший». Раньше я очень хотел стать взрослым, — сознался он. — А теперь вижу, что от этого одни только неприятности. И, знаете, они даже поиграть с ней не позволяют! Будто она из стекла и может разбиться. А ничего в ней особого нет: ведь я тоже был такой маленький… — Он осуждающе посмотрел на коляску, где посапывала Люба.

— По-моему, не так уж плохо быть взрослым, — примирительно сказала я. — Так мне кажется, во всяком случае.

— Когда человек давно взрослый — он, наверное, привыкает… — сказал мальчик и вздохнул.

Мы опять помолчали.

По дорожке, печатая в снегу елочки следов, заковылял толстый городской голубь. Он подбирался ближе, не обращая на

нас никакого внимания; снег оседал на его широкой грифельной спине. Голубь заметил разноцветные шарики, болтающиеся над Любиной коляской. Нацелившись, как снайпер, он взлетел на край коляски и ударил клювом красный шарик.

Над самым личиком Любы оказалась огромная птица с разинутым клювом. Девочка, оцепенев от ужаса, смотрела на голубя; потом личико ее сморщилось, и она залилась пронзительным плачем.

— Пошел вон! — заорал Андрюша на голубя. — Я т-тебе покажу. Я т-тебе дам! — Он ринулся вперед.

Голубь, взмахивая крыльями, взлетел на плечо статуи.

— Уйди отсюда! — кричал мальчик. — Нахал какой! — Он потряс ветку, и снежное облако с шорохом осыпалось на статую. Голубь неторопливо полетел прочь.

Люба продолжала реветь в своей коляске. Мальчик подошел к ней.

— Перестань плакать! — сказал он снисходительно. — Ведь я его прогнал! Поняла? И я от тебя никуда не уйду. Вот глупая — плачет…

Мальчик наклонился над Любой, озабоченно глядя в ее румяное несчастное личико.

И, вероятно, так и не понял, что в эту минуту он впервые испытал одно из самых драгоценных чувств, какое знает взрослый сильный человек, когда он бесстрашно идет на помощь слабому, нуждающемуся в его защите.

Мадонна Литта

К дому подъехала машина, оттуда вышли девушка в длинном белом платье и пожилая женщина в теплом пальто.

Было холодно, с Невы дул ленинградский ветер, пронзающий и острый, как шпага. Девушка была очень красивая, с нежным овалом лица и серыми сияющими глазами; пепельные ее волосы развевал ветер. Она шла к дверям быстро, словно смущалась своей красоты и того, что она одна в снежно-белом платье среди тепло одетых прохожих. У порога она запуталась в длинной юбке и от этого смутилась еще больше.

Я вошла вслед за ними.

Пожилая женщина обернулась, щеки ее разрумянились от волнения. Что-то знакомое почудилось мне в лице. Мать и дочь прошли вперед и исчезли за одной из дверей этого старого пышного особняка, где сейчас находился Дворец Бракосочетаний.

Я поднялась по белой лестнице наверх. И спустя некоторое время увидела их снова.

Девушка стояла посреди зала на ковре, покрывающем блестящий, как озеро, паркет. Рядом с нею был юноша в очках, с длинной шеей и длинными, словно у подростка руками, с лицом, пожалуй, даже некрасивым, но непередаваемо привлекательным своей спокойной добротой.

У стола человек в темном костюме обращался к ним с речью. Слова были умные, торжественные, но, мне показалось, они еле доносились к ним сквозь ликующую музыку их счастья.

Зато мать впитывала эти слова всем существом.

Она сидела у стены среди других родственников и гостей, положив на колени широкие красные руки, и смотрела на говорившего не отрываясь, как школьница на учителя.

После каждой фразы она растроганно кивала головой, соглашаясь: «Так… так…» Лицо ее, залитое слезами, поразило меня своей нежностью и внутренней силой. И опять мне показалось, что я где-то уже видела ее.

Вечером мне надо было уезжать в Москву.

Перед отъездом я успела зайти в Эрмитаж. И едва я переступила порог теплого блистающего зала, едва глянули на меня из золота рам любимые полотна, как тотчас же в памяти встал тот Эрмитаж, каким я видела его в дни блокады.

Я шла тогда по безлюдным, скованным стужей залам, мимо стен, где леденели пустые рамы, точно покинутые дома, из которых ушли те, кто согревал их теплом жизни.

Люстра, сброшенная взрывной волной, лежала на паркете,

как раздавленный цветок. Огромные часы с органом возвышались в углу; стрелки их остановились в тот миг, когда первый фашистский снаряд разорвался над Эрмитажем. Под каждой рамой было имя великого мастера и название полотна, и я шла мимо пустых рам, вспоминая каждую картину, заставляя память вернуть их хоть на миг в покинутый ими родной дом.

Рядом неслышно шагала женщина, закутанная в теплое мужское пальто; поверх пальто она накинула на плечи одеяло.

В самом начале войны драгоценные коллекции были вывезены из Эрмитажа на Восток, но часть наиболее громоздких экспонатов вывезти не удалось; они были упакованы и перенесены в подвалы музея. Хранить их осталась небольшая группа сотрудников, в том числе и эта женщина.

Тяжелые взрывы сотрясали здание, раздавался грохот, высокий, пронзительный звон разбитого стекла…

День за днем ослабевшие, измученные люди заделывали пробоины в крыше музея, закрывали раны в стенах, из которых сочилась вода, перетаскивали тяжелые ящики с коллекциями в безопасные укрытия. Женщина, идущая рядом со мной, была бледна и слаба, как росток во тьме: голос ее едва слышался, она с трудом передвигала распухшие ноги. Но глаза, большие блестящие глаза, были полны поразительной силы и света жизни.

Идя мимо стен, она, как и я, смотрела на пустые рамы, и я понимала, что она видит в них то же, что вижу я.

— Зал Рембрандта… — говорила я тихо, и женщина кивала головой, соглашаясь: «Так… так…» — Вольтер работы Гудона… А вот тут стоял мраморный Фальконе, каким знала и любила его Мари Анн Колло… Помните?

И женщина почти беззвучно соглашалась: «Так… так…»

Мы вошли в один из пустынных залов и остановились у заколоченного окна. Ледяной блик светился на полу, покрытом изморозью. Женщина горестно покачала головой.

— Мадонна Литта… — сказала она шепотом.

Она глядела вперед не мигая.

Что видела она? Пылающую синеву неба? Мадонну, в которой столько земной красоты материнства? Младенец, упершись крепкой ножкой, упоенно сосет материнскую грудь, а юная мать глядит на него… И вдруг в изможденном, худом лице женщины, что стояла возле меня, кутаясь в одеяло, я различила тот же поразительный свет утверждения жизни, бесстрашную веру в ее торжество.

— Да… — сказала она твердо, как бы отвечая сама себе. — Да! Да!

И пошла дальше своей неслышной, слабой походкой, едва

переставляя распухшие ноги.

…Я вспомнила все это, стоя возле великого полотна Леонардо да Винчи, у Мадонны, на коленях которой лежало дитя.

Неожиданно перед глазами моими встало лицо матери, глядящей на свою юную дочь в день ее свадьбы, — лицо, полное поразившей меня нежности и внутренней силы. Я сразу, как бывает во сне, узнала ее.

И я мысленно поклонилась ей и поцеловала ее руку, большую усталую руку труженицы, что берегла от тьмы и зла драгоценный свет искусства, руку матери, провожающей в жизнь свое дитя.